Исследования по истории русской мысли

С Е Р И Я

ИССЛЕДОВАНИЯ ПО ИСТОРИИ РУССКОЙ МЫСЛИ

Под общей редакцией М. А. Колерова

ТОМ ВОСЕМНАДЦАТЫЙ

НАЦИОНАЛИЗМ

полемика 1909–1917

Составитель М. А. Колеров

ВТОРОЕ ИЗДАНИЕ

Модест Колеров
Москва 2015

УДК 1(=161.1)(091.1)
ББК 87.3(2)5
Н35

Н35 Национализм. Полемика 1909–1917 / Сост. М. А. Колеров. 2 изд. М.: Модест Колеров, 2015. (Исследования по истории русской мысли. Том 18.) 304 с.
ISBN 978-5-905040-15-3

© Авторы статей
ISBN 978-5-905040-15-3 © Модест Колеров, составление сборника, 2015

СОДЕРЖАНИЕ

От составителя..... 9

1. По вехам...
Сборник статей об интеллигенции и «национальном лице» (1909)

Ф. Мускатблит. Предисловие 19
Вас. Голубев. Интеллигентская обособленность 32
Вас. Голубев. Соглашение, а не слияние 36
Владимир Ж<аботинский>. Асемитизм 40
Петр Струве. Интеллигенция и национальное лицо 46
П. Милюков. Национализм против национализма 51
Петр Струве. Полемические зигзаги
и несвоевременная правда 56
Вас. Голубев. К полемике о национализме 60
Н. Минский. Национальный лик и патриотизм 65
Е. К. Сумерки 72
Д. Левин. Наброски [I] 77

Д. Левин. Наброски [II] 83
П. Милюков. «Отталкивание» или «притяжение»? 87
М. Винавер. Открытое письмо П. Б. Струве 92
В. Поссе. Современные думы. «Еврейское засилие» 97
В. Поссе. Национализм и социализм 103
И. Жилкин. У старообрядцев 106
Алексей Порошин. Политические письма 109
Homo Novus. 22 несчастия 114
[А.] Рославлев. Мысли 121
Вас. Голубев. О монополии на патриотизм 125
А. Максимов. Чем дальше в лес, тем больше дров 129
Е. К. Национализм и патриотизм 134
В. Хижняков. К «газетной буре» 140
Вас. Голубев. Поворот 144
Мих. Могилянский. Национальное самосознание и патриотизм 149
М. Славинский. Русские, великороссы и россияне 153
А. Погодин. К вопросу о национализме 158
Вас. Голубев. «Обман и лицемерие» или «реакционность»? 161
П. Боборыкин. «Национальное лицо» 166
А. Васильев. Почему мой знакомый спрятал «свое национальное лицо» 169

Прибавление:
Евгений Чириков. Благодарю, не ожидал! 173

Полемика о национализме (1916–1917)

Дмитрий Муретов. Этюды о национализме 179
Петр Струве. Блюдение себя. Нравственная основа истинного национализма 191

Евгений Трубецкой. Развенчание национализма. Открытое письмо П. Б. Струве 195

Дмитрий Муретов. Борьба за Эрос. Письмо П. Б. Струве по поводу письма к нему князя Е. Н. Трубецкого 207

Евгений Трубецкой. Новое язычество и его «огненные слова». Ответ Д. Д. Муретову 218

Петр Струве. По поводу спора кн. Е. Н. Трубецкого с Д. Д. Муретовым 226

Николай Бердяев. К спору между кн. Е. Н. Трубецким и Д. Д. Муретовым 230

Н. Устрялов. К вопросу о сущности «национализма» 238

Евгений Трубецкой. Государственная мистика и соблазн грядущего рабства. По поводу статей П. Б. Струве и Н. А. Бердяева 246

Петр Струве. Национальный эрос и идея государства. Ответ кн. Е. Н. Трубецкому 280

Примечания 289

От составителя

Как научная проблема, история «национального вопроса» (межнациональные отношения, государственная национальная политика, этнические конфликты, практический и теоретический национализм, сепаратизм и ассимиляция) в России известна давно[1]. В меру общественной свободы, социально-политического заказа или личной ангажированности, исследователи хорошо обследовали основные межнациональные предпосылки той государственной катастрофы, что постигла полиэтничную Россию в 1917-м и полиэтничный СССР в 1991-м. В современной России анализ национальных отношений сфокусировал-

[1] В контексте настоящего сборника прилично упомянуть первый вышедший в России фундаментальный труд на эту тему, коллективным автором которого стало интернациональное сообщество либералов и социалистов, представителей этносов, боровшихся за национальное освобождение от империй и имперских этносов: Формы национального движения в современных государствах: Австро-Венгрия. Россия. Германия/Под ред. А. И. Кастелянского. СПб., 1910. См. также: Национальный вопрос в России (1900–1917). Аннотированный указатель книг, статей и публикаций в журналах. М., 1995.

ся на новом, внутрироссийском уровне. Однако для массового общественного сознания, далекого от академической сдержанности (или, напротив, наукообразной ангажированности), история «национального вопроса» выглядит линейной цепью прежде скрытых событий, «неожиданно» взрывающей общества и государства.

До сих пор не является сколь-нибудь общепринятым даже простое отличение эпохи национальных государств XIX–XX веков, породившей проблему этничности и национализма, от ее длительной архаической и феодальной предыстории, в которой этническое (и даже языковое) начало начисто затмевалось конфессиональным, династическим, территориальным и государственным. Различение это было легко отброшено в ходе национальных возрождений и освобождений и порожденных ими межнациональных «исторических» полемик, и теперь национальные учебники заполнены до краев мифическими «фактами» преемственной тысячелетней этногосударственной истории нынешних народов. При этом нет сомнений, что вся история состоит из череды взаимных геноцидов, ситуативных переделов границ, многообразных религиозных, этнических, расовых, языковых притеснений, что судьбы этносов неотделимы от ассимиляций, что в истории в принципе нет и не может быть полной «национальной справедливости». Как нет никакой исторической разницы между сталинскими этническими чистками и этническими чистками, проведенными послевоенными правительствами Польши, Чехословакии, Румынии, Венгрии против немцев, украинцев, цыган, евреев и т. д.

В любом случае — подлинная моральная оценка истории каждого народа обоюдоостра, ибо из доживших до современности этносов[2] — каждый (и часто одновременно) побывал и жертвой, и проводником насилия. Особенно

[2] Я намеренно не акцентирую здесь внимания на терминологической разнице между «этносом», «народом», «нацией», но стараюсь избегать и чрезмерно синонимического их употребления.

сложна (и не «политкорректна») моральная оценка истории так называемых «метропольных» и «имперских народов»: этнические выгоды их господства и колониализма не доказаны, исторические издержки их лидерства очевидны.

«Национальный вопрос» в дореволюционной России был полностью подчинен интересам имперской государственности и государственной церкви. Созданная благодаря интенсивной колонизации Поволжья и Сибири, подчинению Прибалтики, Средней Азии и Кавказа и, самое главное, соединению с Украиной, Российская империя столкнулась с двумя источниками национальных проблем. Первым стало государственное положение окраин, элиты которых самой логикой внутриимперских отношений подталкивались к росту внешней лояльности и внутренней независимости, ждущей своего исторического часа для определения меры «национального возрождения». Вторым — лингвоконфессиональное положение немцев, украинцев, евреев, — народов, принявших наибольшее участие в строительстве империи. Немцы, евреи и украинцы, наряду с русскими сектантами, видимо, более всех ущемленные в русской православной (квазиинтернациональной, квазикосмополитической) империи в качестве *особых лингвоконфессиональных сообществ,* в принципе могли рассчитывать на *этническую* нейтральность власти[3] и без колебаний вели собственную конкурентную борьбу с другими этносами. Но империя все чаще отказывала им в их собственном свободном этническом самоопределении, неотделимом от языка и религии. Более всех готовые к добровольной ассимиляции в рамках формируемой ими имперской общественной элиты, русские немцы, евреи и украинцы оказывались

[3] Хотя, разумеется, надэтническая нейтральность империи была чистым лицемерием, когда погромы (антиеврейские в Бессарабии и Киеве, антиармянские в Баку, антинемецкие в Москве и Петербурге) сопровождались «недостаточной распорядительностью» властей.

в наиболее жестких условиях принуждения. Особенно безумными были действия властей в 1914–1916 годах, когда на военный патриотизм русских немцев, евреев и украинцев (и потенциальную лояльность поляков) империя отвечала подозрительностью, погромами, преследованиями и ограничениями. Неудивительно, что уже летом 1917 года, до и без большевиков, с автономизации Украины, начался национальный распад прежней России.

В ожидании будущего национального самоопределения, прямо угрожающего целостности имперского общества и государства, русские «либеральные националисты» В. С. Голубев и П. Б. Струве инициировали внутриинтеллигентскую полемику о «еврейском вопросе» (1909) и «украинском вопросе» (1914–1917), рискуя столкнуться, по крайней мере, с глубоким непониманием своих союзников и сотрудников, среди которых особая роль принадлежала этническим евреям и украинцам (С. Л. Франк, А. С. Изгоев, С. В. Лурье, Г. Н. Штильман, Б. А. Кистяковский, В. И. Вернадский, М. И. Туган-Барановский, др.). Почему именно «еврейском» и «украинском»? Наверное, потому, что, например, «немецкий вопрос» (в виде «германского»), с началом войны с Германией, счастливо вылился в известную полемику вокруг «от Канта к Круппу» В. Ф. Эрна и дипломатически-милитаристскую «религиозно-философскую» пропаганду — и поэтому не превратился во внутриинтеллигентский антинемецкий сыск (жертвой коего мог пасть сам Струве...). «Польский» же вопрос, уже в 1860-е, в связи с известным восстанием, был сполна олитературен в публицистике М. Н. Каткова, Ф. М. Достоевского, прозе Н. С. Лескова и других «антинигилистических романистов»... Наверное, потому, что никакой иной этнос не был так генетически связан со всей историей русской интеллигенции и партийным радикализмом, как евреи. И, в свою очередь, действительно никакой иной этнос не был так генетически, сущностно необходим для надэтнического, имперского самочувствия

русского национализма, как украинцы. Еще в 1910 году, под впечатлением полемики о «национальном лице», Струве ратовал за «свободное состязание национальностей» и предъявлял власти жесткий счет либерального национализма: «Торжествующий ныне официальный национализм прокладывает путь не национально-государственному объединению, а национальному автономизму и федерализму. Он не собирает, а дробит государство»[4]. Но стоило начаться войне, как, формулируя свой новый национализм, русские интеллигенты уже совершенно искренне недоумевали, натыкаясь на не запланированные в их патриотическом проекте особые этнические идентичности русских евреев и украинцев. Принудительное включение их в общерусский патриотический проект лишало их главного источника всякого патриотизма — свободного выбора и свободного определения своих этнокультурных приоритетов. Русский «либеральный национализм», задаваясь национальной проблематикой, выступая за равноправие евреев и даже рассчитывая на особую роль еврейства в ближневосточной экспансии России[5], тем не менее мало интересовался не только евреями[6] и украинцами, но и этническим разнообразием вообще. Непонимание полиэтнической силы империи обнаруживало в этом национализме и скрытое равнодушие к разнообразию форм собственности, конфессиональной свободе и общественной самоорганизации. Справедливо заостряя внимание на гипертрофированном недоверии русско-еврей-

[4] *П. Б. Струве.* Два национализма // *П. Б. Струве.* Patriotica: Политика, культура, религия, социализм. М., 1997. С. 171–172.

[5] *П. Б. Струве.* Великая Россия. Из размышлений о проблеме русского могущества // *П. Б. Струве.* Patriotica. С. 56.

[6] Вот свидетельство человека, интересовавшегося темой, напротив, весьма настойчиво: «Русские равнодушны к евреям. К *массе* их равнодушны, «за пределом своего дома», вне личных и поименных отношений» (*В. В. Розанов.* Сахарна. Обонятельное и осязательное отношение евреев к крови / Собрание сочинений под общей редакцией А. Н. Николюкина. М., 1998. С. 228).

ской интеллигенции ко всякой «русскости» и «патриотичности», этот национализм мало считался с тем, что гипертрофия была результатом не только политики официального русского национализма, но и столь дорогих для социал-либерального движения интернационализации и атеизации трудовых масс вообще и русского еврейства в частности. Законно рассуждая о весе украинской культуры в сравнении с русской, этот национализм, однако, игнорировал тот факт, что на протяжении столетий творческая энергия украинства реализовывалась в России и на русском языке. Этнический украинец, В. В. Зеньковский так резюмировал задачу сторонников русско-украинского государственного единства: признанием полноценности украинской идентичности и языка «надо спасти Украину для России»[7]. Именно такого желания и не демонстрировали русские националисты. Струве и Д. Д. Муретов апеллировали к религиозным началам нации, но атеистическое социалистическое еврейство не признавало их ценности для аргументации. Социалистический атеизм был общим мировоззрением русских радикалов и сепаратистов, борцов за национальное освобождение[8]. Неудивительно, что единственным солидарным откликом русского еврейства на проповедь антиреволюционного «либерального национализма» была уже *послереволюционная* публицистика праволиберального и сионистского меньшинства[9]. В новых условиях уже иначе выстраивались прио-

[7] *В. В. Зеньковский.* Пять месяцев у власти. Воспоминания / Публ. М. А. Колерова. М., 1995. С. 219.

[8] Синтез социализма и национализма, достигший своего апогея в фашизме и нацизме, исторически и психологически созревал не только в Италии и Германии, но и во всех «национальных возрождениях» Восточной Европы: не случайно именно полуфашистскими были политические режимы в межвоенных странах Европы, где к власти пришли вчерашние социалисты.

[9] См.: Россия и евреи. Сборник [Берлин, 1923]. Paris, 1978. Авторы: И. М. Бикерман, Г. А. Ландау, И. О. Левин, Д. О. Линский, В. С. Мандель, Д. С. Пасманик.

ритеты: «надо спасать Россию, если мы хотим спасти еврейство»[10].

В настоящем сборнике объединены материалы двух наиболее известных дискуссий в русской печати предреволюционного периода. Первая из них, получившая неформальное имя «полемики о национальном лице», развернулась в 1909-м в газетах, но, к счастью, была оперативно библиографически описана и в лучших своих образцах собрана Ф. Г. Мускатблитом в сборнике «По вехам...». Вторая, дискуссия о национализме 1916–1917 гг., внешне продолжала доныне не описанную газетно-журнальную полемику Струве с Н. А. Гредескулом и Б. А. Кистяковским по «украинскому вопросу» (1914–1915). Здесь она собрана впервые и представлена в своей заключительной, философской стадии, по материалам, в основном, журнала «Русская Мысль», в котором Струве решил дать теоретический выход политически малоприятной для него дискуссии.

М. А. Колеров [октябрь 2000]

Первое издание этого сборника вышло в свет в конце 2000 года. Оно увидело свет в сотрудничестве с издательством «Дом интеллектуальной книги» Валерия Анашвили и давно распродано полностью. С тех пор историографическая ситуация вокруг этой темы в России изменилась радикально. Сложнее стал и мой собственный взгляд на «национальный вопрос» в России. Непрерывная война, развязанная этническими национализмами, стала ежедневным содержанием жизни на территории Исторической России, и пределов этому даже не видно.

[10] *Д. С. Пасманик*. Чего же мы добиваемся? // Россия и евреи. С. 217.

Поэтому настоящее переиздание носит стереотипный характер, — в первую очередь, потому, что любые дополнения и изменения к нему были бы недостаточны и в итоге привели бы к появлению решительно нового сборника по составу и справочному аппарату. Однако само конкретное содержание тома, вошедшие в него источники, — по-прежнему в дефиците. Поэтому я решил переиздать сборник без изменений — как востребованный источник и искренне благодарен Леониду Фридовичу Кацису за настойчивые рекомендации переиздать эту книгу, несмотря на то, что сопровождающий его аппарат не может считаться ни современным, ни сколько-нибудь достаточным.

М. К., 5 февраля 2015

1.

ПО ВЕХАМ...

Сборник статей об интеллигенции
и «национальном лице» (1909)

Наши современные «славянофилы» все ищут в темноте ощупью и никак не могут найти «национальное лицо» России: там, где должно быть лицо, черт знает что.
Татары, бывало, в Золотой орде мучили русских пленников: клали на них доски, садились и пировали. Вот где наше национальное лицо. Ниже нельзя: по слову Псалмопевца, «сидим во тьме и тени смертной, окованные скорбью и железом». Железо — до костей, скорбь — до смерти.
Кажется, наступил тот полуночный час, когда вот-вот раздастся крик петухов, возвещающий солнце. Прислушаемся же, не прозвучит ли в наших сердцах этот крик: жив Господь наш, и живы души наши!..

Мережковский

Предисловие

У «разбитого корыта». «Покаяние и самообличение». Примат «психических изменений». Первый шаг. Бином Струве и Владимира Ж. «Газетные шпаги» и журнальные катапульты. От листьев к корням и обратно. «Творимая легенда» Поссе. От чего шелест? Согласный ответ Мережковского и Хама. Ломоносовы и Академия. «Не хоцца» и «хоцца».

Некая часть отечественной интеллигенции, очутившись у «разбитого корыта», пришла к тому безусловно правильному выводу, что «в данный час истории интеллигенция в массе нуждается не в самовосхвалении, а в самокритике. К новому сознанию мы можем перейти через покаяние и самообличение»[1].

[1] *Н. А. Бердяев.* Философская истина и интеллигентская правда. «Вехи». Москва. 1909, стр. 7.

Рекомендованная «самокритика» не замедлила вступить в силу. И обнаружилось, что «в целом интеллигентский быт ужасен, подлинная мерзость запустения, ни малейшей дисциплины, ни малейшей последовательности даже во внешнем; день уходит неизвестно на что, сегодня так, а завтра, — по вдохновению, все вверх ногами; праздность, неряшливость, гомерическая неаккуратность в личной жизни, грязь и хаос в брачных и вообще половых отношениях, наивная недобросовестность в работе, в общественных делах — необузданная склонность к деспотизму и совершенное отсутствие уважения к чужой личности».

Выражаясь проще, интеллигенция — это олицетворенное свинство с гноящейся душой, положительно обязанное «благословить эту власть, которая одна своими штыками и тюрьмами еще ограждает нас от ярости народной»[2].

Конечно, под таким видом дальше жить нельзя. Необходимо внутренне облагообразоваться. Сначала — «новое сознание», а потом — путное бытие. Такова формула олеандрового идеализма, отливающая цветом основоположения другого идеализма — крапивного: сначала — успокоение, а потом — реформы. Пустяки. На всякое тождество не наздравствуешься. Это раньше можно было помышлять о таких благоглупостях, как всеобщее и т. д. в сектантской грезе о том, что в условиях хотя бы и одной лишь реформы учреждений — надежнейший залог приобщения нации к сознательной жизни со всеми вытекающими отсюда этическими следствиями индивидуального и социального свойств. Не то — ныне. Теперь уж, как день Божий, ясно, что «реформа учреждений, реформа, изменяющая, так сказать, политическую технику человеческих общежитий, сама по себе совершенно недостаточна... Силой вещей перед этим обществом ставится великая проблема национального оздоровления. И первым шагом к нему может быть лишь то психическое изменение, которое легче почув-

[2] *М. О. Гершензон*. Творческое самосознание. Ibidem, стр. 80–81 и 88.

ствовать, чем выразить в определенных словах, — пробуждение воли народа к жизни полной и напряженной»[3].

И я щедро воскликнул этим «покаянию и самообличению» из идеалистической кондитерской «С. Н. Булгаков и К°» с погромным печением во вкусе г. Гершензона:

— Что ж, a bonne heure! Вперед, друзья! Поживем. И, пожалуй, увидим...

Хотя в общем темп российской жизни — довольно медленный, но в этом случае он изменил самому себе. Ждать пришлось крайне мало. Даже совсем не пришлось. Практика предупредила теорию. Прошел «в состоянии запальчивости и раздражения» неуспехом последнего этапа своего творчества г. Чириков, который незадолго до того выступил с публичным одобрением своей же «Белой вороны». И слегка задел нерв, известный в общественной медицине под названием «Judaicus».

Несмотря на то, что из него и кустарным способом, и на канатных фабриках всего мира неоднократно вили веревку, точнее — именно благодаря этому — он стал чрезвычайно чувствительным. И, если хотите, пожалуй, даже сверх меры. Пора было бы привыкнуть... Гиперестезия. Так что на прикосновение к нему ничтожной пылинки дает сильнейший разряд.

В яркой искре последнего и осветилась одна из частиц того — на основании очередного распоряжения приматствующего над «так сказать, политической техникой человеческих общений» — «психического изменения», о котором приведено выше.

Это было «национальное лицо» г. Струве с его «отталкиванием» от семитского полюса и «притяжением» — вопреки всем законам природы — к одноименному антисемитскому полюсу в образе кое-каких любвеобильных органов нашей печати. Можно, как это было заявлено по адресу г. Милю-

[3] *С. А. Котляревский*. Успокоение и оздоровление. «Московский Еженедельник», № 13, стр. 5.

кова, осудить «старую манеру дискредитировать и идею, которую не разделяешь, и личность, ее провозглашающую, скверным намеком, что это-де встретит полное сочувствие в «Новом Времени» и в «Русском Знамени»[4].

Но когда приставка «де» отметается самим фактом — его же не перейдешь — иначе: когда «скверный намек», — а это-то и произошло — превращается в действительность[5], то тут уж ничего не возразишь. Приходится признать ее, не преувеличивая и не преуменьшая. В натуральную величину. И на сей раз — отменно скверной...

Мне, поэтому, вполне понятна антипатия г. Струве к «звону скрещиваемых газетных шпаг, к фехтованию, где часто существо дела приносится в жертву эффектному сближению или рассчитанному на слабые нервы полуистерическому выкрику, или же, наконец, любезному некоторой части публики забавному подхихикиванью с примесью ловко пущенной инсинуации»[6]. Однако вряд ли «читатель-друг» станет настаивать на отводе меня, хоть и «газетной шпаги», если я, отрекшись от какого бы то ни было профессионального лицеприятия, замечу, что в таких случаях, как анализируемый, «существо дела» лучше всего обнажается как раз в ежедневной прессе. В ней, а не в «толстом журнале», где суждения застегиваются на все пуговицы публицистического сюртука и отрекомендовываются затем не иначе, как в тщательнейшей отделке (невольно вспоминаю афоризм: «язык дан человеку для того, чтобы скрывать его мысли»), — в ней, повторяю, дается на определенное явление непосредственная реакция, т. е. то, что в таких по основе эмоциональных вопросах, как именуемый еврейским, наиболее ценно.

«Национальное лицо» г. Струве оказалось — в пылу полемического турнира — растянутым у г. Голубева в «дер-

[4] «Слово», № 739.

[5] «Новое Время» № 11853 и «Русское Знамя» № 51.

[6] «Слово», № 734.

жавную народность», — терминология, по моему крайнему разумению, значительно утратившая свой колорит при дальнейшем изложении даже при той предусмотрительной поправке, что «русскую национальность, как державную», еще нужно до этой степени «поднять»[7]. Действительно, «державная народность», которая почти ничего не держит, но которую в то же время почти целиком держат в объятиях всевозможных «положений», «временных правил» и «обязательных постановлений» вплоть до употребления лишь административно-угодных анестезирующих препаратов (Толмачев), — подобное сочетание представляет собой чистейший non sens. Оставляю «опытное» освещение этого рода жития в стороне, потому что это повело бы к такой его земной «проекции», которой мыслящий «поверх текущего момента» г. Струве вообще не любит[8].

Само собой разумеется, его выступление оказалось вполне в тональности еврейского националиста Владимира Ж.

Незыблемо стоя «На пути в Сион», он и в недавней работе г. Чуковского об «Евреях в русской литературе»[9] узрел излюбленный «асемитизм». И блеснул тогда столь вдохновенной статьей, что гуманист Дубровин мог «с ручательством за верность хода» одним постскриптумом, — «а посему бей!» и приложением печати с<оюза> р<усского> н<арода>, блестяще использовать это произведение для нужд «народного негодования». Судите об этом национализме «дезабилье» сами.

«Наша окаменелая, сгущенная, холодно-бешеная решимость: удержаться на посту, откуда сбежали другие, и служить еврейскому делу, чем удастся, — головой, и руками, и зубами, правдой и неправдой, честью и местью, во что бы то ни стало. Мы стиснем зубы и крикнем всему миру в лицо из глубины нашего сердца, что один малыш, болтающий

[7] Ibidem.

[8] Ibidem.

[9] «Современные мысли», №41.

по-древнееврейски, нам дороже всего того, чем живут ваши хозяева от Ахена до Москвы. Мы преувеличим свою ненависть, чтобы она помогла нашей любви»[10].

Пусть скульптор отольет эту формулу в маску. И она поразит вас своей чудовищностью, которая может найти себе некоторое объяснение, но ни в коем случае не оправдание в том, что в ней отсвечивают Одесса, Седлец, Белосток, Кишинев и Киев...

Эпизод с г. Чириковым подвинул его на другой, более хладнокровный шаг, но и в нем звенел тот же, подтвержденный г. Струве, рефрен: я всегда утверждал, что по отношению к нам имеется «отталкивание», а потому оттолкнулся в Палестину, — решение, к слову сказать, значащееся в символе веры крайней реакции: скажи мне, кто тебя одобряет, и я скажу тебе, кто ты.

Так с поворотного пункта, установленного «Письмом» г. Чирикова[11] и на почве «предисловий» гг. Струве, Голубева и Владимира Ж., взошла начавшаяся несколько ранее полемика о государственности и национальности.

От листьев к корням. И отчасти... от корней к листьям. Один из них, поколебленный г. Поссе, зашелестел, но не обратил на себя, как я ни наблюдал, ничьего внимания в смысле отклика. Восполняю этот пробел. И — с тем большей охотой, что сыгранная почтенным публицистом «Fantaisie» принадлежит к разряду тех опусов, которые, покоясь на особенно непростительном для него незнании, звучат в одном ключе с тисса-эсларскими.

Знать, — вот что прежде всего необходимо! — гремел, в свое время трактуя о вопросе, именуемом еврейским, Салтыков-Щедрин.

Приведя обвинение евреев-журналистов в том, что они «тянут» друг друга, а русских «отстраняют», г. Поссе скрепляет:

— В этом есть доля правды.

[10] «Современные мысли», № 46.

[11] См. Прибавление.

Отметив упрек в их слишком легком приспособлении к требованиям «хозяев печати» и покладистом «применении к подлости», а также в «высокомерии», принимающем форму «наглости» и «нахальства», г. Поссе отзывается:

— И здесь есть небольшая доля правды.

Наконец, сославшись на указание о порче ими русского языка привнесением в него «жаргонного стиля», г. Поссе устанавливает:

— Обвинение кажется правдоподобным.

Доля правды... Небольшая доля правды... Кажется правдоподобным...

В итоге, — не слишком ли много правды? Не думаю. В крайнем случае — ровно столько же, сколько ее оказалось бы в аналогичных резолюциях о таких же деятелях и вообще людях, которым «ничто человеческое не чуждо», любой национальности.

Но если тут г. Поссе подписывается под всяческим воздержанием, то одно положение принимается им целиком. А так как оно — основное, то с его провалом должна сорваться и вся, как на крюке подвешенная на нем, цепь только что упомянутых.

Указав на отзыв, по которому «процентное отношение издателей и писателей еврейского происхождения к таковым же происхождения русского неизмеримо выше процентного отношения еврейского населения к русскому», г. Поссе констатирует:

— Это факт, которого не могут оспаривать ни русские, ни евреи.

А я утверждаю, что г. Поссе «взял кусок жизни и сотворил из него легенду». Нечто вроде «навьих чар», почему-то названных им еврейским засильем в кавычках, между тем как это заимствованное им у Меньшикова заглавие следовало, как видите, использовать в его девственном виде, без стеснения в «лапках».

Пусть мне г. Поссе ответит на такого рода опросный лист:

— Сколько в «Новом Времени» евреев, кроме Меньшикова, А. Ст-ина, Буренина, Беляева, Попова, Прокофь-

ева, Глазенапа, Павловского, Горячковской, Новиковой и Смирновой?

— В «Петербургских Ведомостях» без кн. Ухтомского, Рославлева, Хряпина и Вакуловского?

— В «Свете», «Русском Знамени» и «Гражданине» помимо Дубровина, Булатовича и кн. Мещерского?

— В «Новой Руси», не считая Порошина, Боцяновского, Рокотова, Кривцова и Емельянченко?

— В «Речи» из 139 поименованных сотрудников?

— В «Нашей Газете» из 85?

— Наконец, в «Слове» из 82?

О Москве скажу лично.

«Вече».....0
«Московские Ведомости».....0
«Голос Москвы».....0
«Русское Слово».....0
«Московский Листок».....1
«Русские ведомости».....4
«Раннее Утро».....9

Рекомендую нашему эксперту объехать все Поволжье, начиная с Саратова с его «Вестником» (Лопуховский, Архангельский) и «Листком» (Лебедев, Горизонтов, Патрашкин).

Заглянуть в Харьков с его «Утром» (Риттер, Жмудский, Фатеев, Моисеенко, Вольский, Смолянов, Герасимов, Епифанский) и «Южным Краем» (Воронецкий).

Наведаться в Киев с «Киевлянином» (Пихно), «Киевскими Вестями» (Саликовский) и «Киевской Мыслью» (Лубковский).

Спуститься в Одессу с «Резиной» (Глобачев), «Русской Речью» (Пеликан), «За Царя и Родину» (гр. Коновницын) и «Одесским Листком» (Навроцкий, Попандопуло, Лучинский, Александровский, Солодов).

Обозреть Елисаветград с «Голосом Юга» (Горшков) и «Новороссийским Краем» (Теплов, Пржевальский).

И, проследовав через Екатеринослав с «Приднепровским Краем» (Копылов, Буякович) на Ростов с «Приазовским Краем» (Арутюнов), вернуться восвояси, чтобы дать показание о том:

— Кто такие стоящие во главе «Русской Мысли», «Вестника Европы», «Русского Богатства», «Современного Мира» и «Образования» господа Струве и Кизеветтер; Арсеньев, Ковалевский и Кузьмин-Караваев; Короленко, Пешехонов, Мякотин, Южаков, Иванчин-Писарев, Мокиевский, Петрищев и Елпатьевский; Батюшков, Ник. Иорданский, Неведомский и М. и А. Куприны; Карышев, Василевич, Игнатьев, Кудрин, Морозов и Новорусский?

— И какой национальности Суворин, Сытин, Саблин, Сойкин, Зелинский, Парамонов («Донская Речь»), Снегов («Буревестник»), Палиев («Молот»), Мягков («Колокол»), Распопов («Молодая Россия»), Мария Малых, Риккер, Вольф, Девриен и покойные Попова, Павленков и Маркс?

Тогда станет ясно, в какой мере «факт, который не могут оспаривать ни русские, ни евреи», есть факт, а не «Осведомительное бюро».

И — искренне жаль, что об еврейском засилии можно толковать лишь в кавычках. Ибо что может быть вменено любому народу в большую честь, чем его интенсивное участие в литературе?

Конечно, г. Меньшиков не оставит учинить ввиду сего закономерно-целесообразный вывод. Но... «волков бояться — в лес не ходить».

Суть в том, что уже одно появление в течение какого-нибудь полумесяца — и то только в столичной прессе — до 30 откликов различных оттенков свидетельствует о приподнятости интереса к теме, поставленной теперь на очередь и на Западе.

Ввиду этого, смею думать, предлагаемый сборник, из которого мной исключено все побочное, представляющий собой комплекс всего, что вышло — исключительно с прогрессивной стороны — существенного, — что он, давая аудитории

возможность выслушать всех спорщиков, отвечает, как пишут трафаретные журналисты, «назревшей потребности».

Должен оговориться: упомянув — в применении к происшедшему — о «психологическом изменении» в некоей части отечественной интеллигенции, я, конечно, имел в виду не его, как таковое, а наличность его прежде не обнаруживавшегося проявления. Как душевный плод того многоветвистого дерева, кора которого срослась из мало осознанных капризов расового темперамента, легенды, предрассудков, иррационального воспитания и среды[12], — «асемитизм» существовал в лучшем слое у нас (и везде) всегда. Но если свет разума пока не смог его попрать («опустите ум на глубину познания и вы подымите сердце до небес» — Гюго), то по крайней мере соблюдалось известное приличие молчания в доме повешенного о веревке... Ныне же и этот декорум растаял. Почему? Отчего? Как? Недоумение находит себе естественную разгадку в поразительно — до буквального совпадения выражений — согласном ответе такого просвещенца, как г. Мережковский, и его антагониста Хама.

Один сказал:

— Только что начинаем пятиться, каяться, отдаваться реакции — находим себя, становимся «истинно-русскими людьми», не на голове ходим, а на резвых ножках бегаем. Мы — «Ванька-встань-ка»: как бы ни завалила нас революция, реакция выпрямит[13].

Другой:

— Спасибо все-таки реакции: не будь ее, никогда бы не началась грызня в левом стане. Реакция, как ни бранят ее, — чудеса творит, обращая помаленьку Струве и Чирикова в русских...[14]

Хам, естественно, ликует. А у г. Мережковского, по его собственному признанию, как и у других — подобно боль-

[12] *Салтыков-Щедрин*. Недоконченные беседы. Двадцативековая трагедия.
[13] *Д. С. Мережковский*. Головка виснет. «Речь», № 79.
[14] «Русское Знамя», № 58.

ному Васюте в «Черном по белому» З. Н. Гиппиус — «головка так и виснет, так и виснет».

— Молочка бы ты мне, мамка, — да не хоцца...

В какой мере искренно — дело литературных соглядатаев, но Андрей Белый протягивает это, лишенное веры в творческую силу народа, расслабленное «не хоцца» до пожелания:

Туда, где смертей и болезней
Лихая прошла колея, —
Исчезни в пространство, исчезни,
Россия, Россия моя!

Наглядный пример mania grandiosa с головокружением от отсутствия, притупления или утраты исторического чувства.

Господа, мережи кующие, могут «с душевным прискорбием известить родных, друзей и знакомых», что Россия без кавычек, вопреки их воплям, в отставку не подаст. Они по ошибке приняли ее за Академию, а себя — за Ломоносовых.

Что же до глубочайше убежденных в непреложность поступательного — под всеми широтами — хода исторического процесса, то они остаются подобной прострации совершенно чуждыми.

Им «хоцца» и России, даже в ее настоящем состоянии, «чтобы мыслить и страдать» по России грядущего, культурно-правовой России.

«Хоцца» и усовершенствованных «психических изменений» личности, которые шли бы рука об руку с созвучными изменениями, «так сказать, политической техники человеческих общежитий».

«Хоцца», наконец, и «молочка» в форме такого разрешения государственной и национальной проблемы, которое отвечало бы категорическому императиву:

— Не делай другому того, чего не желаешь себе!

Веление, совместимое со всяческим волевым напряже-

нием как нации, так и индивидуума в сторону самоопределения.

Пока — ничего подобного нет. И мы — хочется воскликнуть вместе с г. Мережковским[15] — мы «еще смеем говорить о «Великой России», о нашем «честном и добром национальном лице», смеем спрашивать, куда оно делось, почему его не видно. К плахе пригнул палач — вот почему не видно»...

Ф. Мускатблит

P. S.

Считая юридическое право перепечатки произведений размером не свыше 1 печатного листа недостаточным вообще, а в сборнике — тем более, я обратился к их авторам с мотивированной просьбой об ее разрешении. Приношу им всемерную признательность за последовавшее на мое обращение полное согласие и даже более — сочувствие.

Так, П. Н. Милюков высказался в том смысле, что «чем шире распространятся его статьи, тем лучше».

Н. Минский по своей инициативе любезно предоставил мне для восстановления несколько выпавших из первоначального текста мест, что в меру «не зависящих от редакции обстоятельств» и сделано.

В. С. Голубев выразил желание приобщить к его изложению представляющую для него большое значение «Интеллигентскую обособленность».

В. А. Поссе — «Национализм и социализм» — просьбы с готовностью исполненные.

А. Васильев пожелал внести в свой эскиз некоторые исправления и дополнения, но затем отказался от этой мысли во избежание задержки в выходе книги.

А. Л. Погодин и А. А. Стахович были столь предупредительны, что предложили мне воспользоваться: А. Л. вместо

[15] Когда воскреснет? «Речь», № 86.

воспроизведенного наброска — скорее более обстоятельным очерком «Петербург и Вена»[16], А. А. — тогда еще не вышедшим в свет этюдом о Молодой Турции.

При всей содержательности этих монографий и представляемом ими поэтому интересе я не счел, однако, возможным привести их, как материал, несколько выходящий за рамки этого сборника, во главу угла которого положено отношение интеллигенции к семитизму.

В противном случае книга непомерно разрослась бы и, будучи сама выбитой из намеченной колеи, помешала бы другому предположенному изданию: о национальной проблеме в более тесной связи с событиями внешнего порядка.

Ф. М-т

[16] «Московский Еженедельник», № 10.

Вас. Голубев

Интеллигентская обособленность

Герой одного из замечательнейших романов Достоевского «Подросток», человек 40-х годов, помещик-идеалист Версилов, дает весьма любопытную характеристику русского интеллигента. «У нас, — рассказывает он, — создался веками какой-то еще нигде не виданный культурный тип, которого нет в целом мире — тип всемирного боления за всех». «Нас, может быть, всего только тысяча человек, — может быть, более, может быть, менее, — но вся Россия жила лишь пока для того, чтобы произвести эту тысячу». Эта тысяча или, может быть, «более» оставалась у нас таковой же вплоть до последних лет. И такой же «тысячей», но уже по другим мотивам, хотят ее оставить и дальше те, кто, как например литературный критик г. И. в «Русских Ведомостях», продолжает видеть в интеллигенции класс, обособленный от других классов. Полемизируя со Струве о новом миросозерцании интеллигенции, г. И. утверждает, что проповедь Струве о личной годности, о «принципиальном идейном изменении отношения интеллигенции к производительному процессу в обществе» *теперь* не будет иметь успеха и найдет сейчас отклик только «в наиболее

усталой части современников, руководствующейся в своих исканиях правилом: подальше от того, что не оправдало надежд».

Эта ссылка на «усталость» — весьма характерный аргумент, как характерно и это, объединяющее интеллигенцию в особый класс, «теперь», под которым разумеется «железный круг», стягивающий всю русскую жизнь.

И вот так просто решает г. И. проблему нынешних исканий интеллигенции и весь этот спор о новом мировоззрении. С одной стороны, «усталость», с другой — реакция. Ищут нового мировоззрения те, кто «устал», и уходят подальше «от того, что не оправдало надежд». А искать нечего, ибо исключительные положения и реакция — достаточные условия, чтобы интеллигенция по-прежнему оставалась обособленным классом и была объединена одной целью и задачей. Пути к достижению цели, очевидно, для г. И. тоже так же просты и ясны, — они все те же, ибо цель та же.

И если бы дело обстояло так просто, то действительно не о чем было бы спорить. Но мы думаем, что дело много сложнее и вопрос об обособленности интеллигенции — вопрос, именно сейчас требующий обсуждения по существу.

Действительно, долгие годы Россия жила, «чтобы произвести эту тысячу», т. е. эту российскую интеллигенцию — носительницу мировых идеалов. Было время, когда можно было сказать, что не следует «негодовать», что «на тысячу человек истрачено столько веков и столько миллионов народу». Версилов говорил, что, по его мнению, «тысяча» — это «не мало». Интеллигенция, русская многострадальная интеллигенция отдавала себя народу и мировым идеалам целиком, отдавала свою жизнь, больше того — отдавала свою мысль, чувство и волю. И все-таки кто решится сказать, что она отплатила за себя сторицей. Теперь интеллигенция уже не одна тысяча, она разгруппировалась уже по партиям, находящимся между собою даже в решительной вражде. И тем не менее от обособленности она все еще не отделалась.

Это обособление русской интеллигенции в отдельный класс с ее космополитическими идеалами много содействовало тому, что и наша российская революция получила бесплодную космополитическую идеологию, имевшую немало вредных последствий для «освободительного движения» с одной стороны, и классовую подкладку с классовой же идеологией в борьбе против старого режима — с другой.

В недавно вышедшем сборнике г. Минского «На общественные темы» эти две черты русской революции изображены с поразительной ясностью. «Французская революция, — справедливо замечает г. Минский, — вся насквозь была пропитана духом патриотизма и воинственного воодушевления, между тем как русская революция насквозь антипатриотична и антивоинственна». Восхищаясь таким характером русской революции, г. Минский им же объясняет и то обстоятельство, что русская революция была тесно связана с еврейством. И надо отдать справедливость г. Минскому, что и констатирование факта, и объяснения его такого явления во многом сделаны верно, если иметь в виду влияние на русскую революцию русской интеллигенции, как одушевленной по преимуществу космополитическими идеалами.

Но когда г. Минский писал свои статьи об «Идее русской революции», он не переживал еще того, что переживаем мы сейчас, иначе он с большей осторожностью написал бы следующие строки: «Немецкая свобода, прогуливавшаяся под трехцветным знаменем германского единства, должна была неминуемо угодить в железные объятия Бисмарка, равно как французская революция, отправившись в путь с песней: «allons enfants, de la patrie», неминуемо должна была прийти в объятья «pere de la patrie», к новому цезарю. Ни та, ни другая опасность не угрожает, кажется, нашей революции, какова бы ни была ее судьба».

Бисмарк положил основание германскому единству, благодаря которому Германия стала и богатой, и силь-

ной. Франция с Наполеоном 1-м разнесла идеи политической свободы по всей Европе и разрушила феодальный порядок, а что сделали мы и что творится после революции у нас в настоящее время? К сожалению, мы пришли к несравненно худшему, чем судьбы германской и французской революций.

«Одна Россия, — говорит тот же Версилов из «Подростка», — живет не для себя, а для мысли, и согласись, мой друг, знаменательный факт, что вот уже почти столетие, как Россия живет решительно не для себя, а для одной лишь Европы!» Под Россией Версилов разумел, конечно, русскую интеллигенцию. К сожалению, многие из интеллигентов и теперь продолжают думать, что Россия должна жить для Европы. И в этом одна из серьезнейших причин нашего неустройства. Европеец — прежде всего француз, немец, англичанин. Русский, конечно, интеллигент, — прежде всего европеец и даже всечеловек, а потом уже русский.

Вот в этом-то обстоятельстве и заключалось в значительной мере бессилие русского «освободительного движения», бессилие и русской интеллигенции, бессилие и русского обывателя против того «железного кольца», которое давит нас. Не этой же ли обособленностью русской интеллигенции от других классов, при отрицании ею идеалов «личной годности», национального подъема производительных сил страны и при классовых идеалах, облеченных в одежды космополитизма, — объясняется и то обстоятельство, что мы так легко попадаем в это «железное кольцо» и так долго в нем нас держат. Во всяком случае, об этом стоит подумать, а не отделываться ссылкой на «усталость» той части интеллигенции, которая ищет новых основ для своего мировоззрения.

Вас. Голубев

Соглашение, а не слияние

Нужно выяснить, а не замалчивать. Лучше ошибиться и несколько пересолить, чем быть якобы правыми, пребывая в молчании. Поэтому мы считаем, что «инцидент» г. Чирикова нужно выяснять, ибо в нем заключается далеко не частный случай, а несомненно случай, имеющий общие причины и тенденции и заключающийся в общем же вопросе, именуемом вопросом национальным. Национальный вопрос наряду со многими другими становится в настоящее время таким вопросом, который волнует и нашу интеллигенцию. Она пересматривает и его.

Не так давно «Русские Ведомости» в ответ на нашу статью, касавшуюся отчасти и вопроса о национализме, предостерегали нас, как бы мы в противопоставлении национализма космополитизму, которым сильно погрешила наша интеллигенция, в особенности в год нашей революции, не перешли границы и не пошли бы незаметно для себя по дорожке «Нового Времени», словом, предостерегали нас от опасности, попросту говоря, впасть в шовинизм и в разного рода фобию. Консервативный либерализм «Русских Ведомостей», всегда боящийся малейшего уклона вправо

или влево и потому никогда не ставящий вопросов сколько-нибудь прямо, без сомнения, не решается не только высказаться по таким, действительно острым у нас в России при существующем режиме вопросам, каков национальный, но даже и поставить их. Но жизнь прорывается через кордон этого консервативного либерализма и ставит сама собой острые вопросы. Так прорвалась она и в инциденте г. Чирикова по еврейскому вопросу.

И нечего скрывать, что национальный вопрос стоит теперь далеко не так, как он стоял у нас до революции и во время революции. Мы все еще думаем, что гнет исключительных положений и общий реакционный режим, в котором приходится нам жить, достаточны, чтобы Россию, русское общество считать находящимся в том же самом положении, в котором мы находились до 1905 года. На самом деле это положение резко и глубоко различествует. То, что было Россией пережито за эти последние годы, не прошло бесследно. Не прошла бесследно и та борьба внутри общества, внутри различных общественных классов и групп, которая происходила, происходит еще и сейчас во время, казалось бы, общей борьбы со старым режимом. Эта внутренняя борьба и изменения, несомненно, происходили и между национальностями, населяющими русское государство. Было бы ошибочно думать, что в общей борьбе самых различных общественных и национальных групп против старого режима не происходило весьма серьезных межгрупповых столкновений. И хотя остатки этого старого режима давят на жизнь и до сих пор, объединяя тем самым широкие слои русского населения в одном стремлении избавиться от старого режима, но уже не только в самой этой борьбе, а еще больше в том новом, что должно быть поставлено на место старого, разногласия неизбежны. Эти разногласия неизбежны, конечно, и в отношении к национальному вопросу. Мало того, — в происходившей в последние годы борьбе различные национальные группы значительно самоопределились. За эти годы каждой национальности,

в лице ее лучших представителей, много пришлось передумать и перечувствовать. Естественно, что русским людям также пришлось задуматься над своей национальной задачей, тем более, что задача русских много сложней задач недержавных национальностей Российской империи, ибо наша национальная задача является в то же время и задачей государственной, а следовательно, и творческой.

Под гнетом старого режима русский человек, естественно, не разъединял себя от всех других недержавных и в большей или меньшей степени угнетенных национальностей. Но хотя старый гнет и остался, зато яснее стали отношения русского человека к другим национальностям. И вот, когда недержавные национальности стали самоопределяться, явилась необходимость самоопределения и для русского человека. И это самоопределение необходимо, ибо русский человек, в особенности русский интеллигент, меньше всего задумывался над собой. Даже в отношении нашей отечественной истории мы, русские интеллигенты, едва ли не меньше осведомлены сравнительно с осведомленностью нашей относительно истории европейских стран. Общечеловеческие идеалы, общечеловеческие стремления были для нас гораздо важнее, чем собственное строительство.

Но даже по мнению таких далеких от узкого национализма людей, как Влад. Соловьев, прежде чем быть носителем общечеловеческих идеалов, необходимо поднять на известную национальную высоту самих себя. И это чувство самоподъема, видимо, начинает проникать даже в среду интеллигенции.

Из этого ничуть не следует, чтобы на место игнорирования своей национальности нужно было поставить зоологический национализм. Как не следует, чтобы из естественного чувства сознания своего национального достоинства, проявившегося у г. Чирикова, зародился антисемитизм. Если в среде русской интеллигенции поднимутся национальные чувства, если мы противопоставим себя, как русских, другим национальностям, то отсюда не следует,

чтобы явились стремления подавления других национальностей. Наша ошибка была в том, что до сих пор мы сливали себя со всеми другими национальностями, что мы замалчивали особенности, отделяющие русских людей от других национальностей. А это в конце концов равносильно или равнению под вид Homo sapiens, или под сверхчеловека. Живые же люди, да еще со своим историческим прошлым, со своей культурой ни под ту, ни под другую мерку не подходят. Совершившиеся в эти годы события привели к тому, что мы начинаем переживать начало национального развития каждой из национальностей, населяющих Россию, а вместе с тем и начало идейного соглашения, а не слияния. И хотя старый режим, стремящийся всецело подавить подвластные России национальности и таким путем слить их с русской национальностью, остается в своей силе, но это не мешает все же внутренней переработке тех же национальных идей в среде общественных групп. Отсюда вытекает задача русской интеллигенции: развивая свою национальность как национальность государственную, стремиться не к слиянию с другими национальностями, а к признанию соглашения с ними.

Владимир Ж<аботинский>

Асемитизм

Некоторые органы большой передовой прессы Петербурга решили, очевидно, совсем замолчать случай с гг. Чириковым и Арабажиным. Это можно было предвидеть заранее. В эпоху ассимиляции немецких евреев кто-то пустил в обращение следующую формулу: лучший способ проявить юдофильство — это не говорить ни слова ни о евреях, ни об их противниках. Лучший ли, не знаю, но, несомненно, удобный способ. В нравы и традиции русской печати ввела его почтенная и заслуженная московская газета, декан и образец русского прогрессизма. Эта газета выдвинулась в эпоху самой отчаянной травли еврейского племени и стойко промолчала в течение 25 лет на сию щекотливую тему: не обмолвилась ни одним звуком ни об евреях, ни об их литературных гонителях. Пример не остался без подражателей, и с тех пор замалчивание считается высшим шиком прогрессивного юдофильства. Такой шик задавали «Наша Газета» и «Речь» по поводу чириковского приключения. Как-то раз в тех кругах, которые весьма близки обеим редакциям, об этом случае говорили очень много, а обе газеты молчали и, несомненно, думали, что у них это

выходит очень эффектно и многозначительно: сама, дескать, истина молчит нашими устами! С последним я вполне согласен и даже попытаюсь разобраться в таинственном содержании этого многозначительного безмолвия. В самом деле, о чем молчала истина устами почтенных органов? Что знаменовала их немота в этом случае?

Но тогда надо начать с другой загадки: что знаменует самый случай, каков его общественный смысл? Московские газеты дали бесхитростный и грубоватый ответ: культурный антисемитизм. Г. Тан как-то предсказывал, что вместо д-ра Дубровина восстанет у нас когда-нибудь д-р Люэгер, и это будет куда пострашнее; и вот московские газеты подумали, что момент уже близок, и гг. Чириков с Арабажиным возвестили скорое нашествие нового д-ра Дубровина в исправленном и очищенном издании.

Вряд ли оно так. Прежде всего надо заступиться за гг. Чирикова и Арабажина: когда они уверяют, что ничего антисемитского не было в их речах, то оба они совершенно правы. Из-за того, что у нас считается очень distangue помалкивать об евреях, получилось самое нелепое следствие: можно попасть в антисемиты за одно только слово «еврей» или за самый невинный отзыв об еврейских особенностях. Я помню, когда одного очень милого и справедливого господина в провинции объявили юдофобом за то, что он прочел непочтительный доклад о литературной величине Надсона. Когда г. Чуковский констатировал этот неопровержимый факт, что евреи, подвизающиеся в русской изящной литературе, ничего стоящего ей не дали, очень недалеко было от того, чтобы и г. Чуковского ославили антисемитом. То же самое теперь с г. Чириковым. Хороши или плохи русские бытовые пьесы последних лет, я судить не берусь; но г. Чириков совершенно прав, когда говорит, что хорошо критиковать их может только русский, — для которого вишневый сад есть реальное впечатление детства, — а не еврей. Если бы г. Чириков сказал: «а не итальянец», никто бы в этом не увидел ничего по-

хожего на италофобию. Только евреев превратили в какое-то запретное табу, на которое даже самой безобидной критики нельзя навести, и от этого обычая больше всего теряют именно евреи, потому что в конце концов создается впечатление, будто и самое имя «еврей» есть непечатное слово, которое надо пореже произносить...

Кого особенно несправедливо обидели во всей истории, это Арабажина. Если оставить в стороне его выпады в печати против сионизма, которые не стоят внимания прежде всего потому, что г. Арабажин в этом вопросе некомпетентен, то именно он уже совсем ничего греховного не сказал. Он и вообще (судя даже по тем пересказам, против которых он печатно протестует, и тем более по его собственной передаче) не выразил в этом споре никаких собственных взглядов. Он только констатировал, что настроение, звучавшее в словах г. Чирикова, свойственно не одному лишь последнему, а имеет или может иметь сторонников в кругах, прикосновенных к русской литературе и русскому театру. Г. Арабажин сделал даже оговорку, что лично он этого настроения не разделяет, но что оно все-таки есть, и он считает долгом обратить на это серьезное внимание товарищей-евреев. Может быть, все это было высказано им и г. Чириковым в более мешковатой форме (нельзя же забывать, что спор был в частной товарищеской компании, где половина собравшихся друг с другом на «ты»), но по существу ничего антисемитского, шовинистического, реакционного и по всем прочим статьям преступного эти нашумевшие речи не содержали. Одно только в них было — *симптоматическое*.

Именно с этим всего неохотнее согласятся юдофилы-замалчиватели. С их точки зрения уж лучше записать гг. Чирикова и Арабажина в список отлученных от прогресса, чем признать, что в речах этих писателей звучал смягченный отголосок некоего общего настроения, пробивающего себе дорогу в среднем кругу передовой русской интеллигенции. Спорить тут невозможно, документальных

доказательств не добудешь, — наличность такого настроения можно установить пока только на ощупь, и не всякий захочет признаться, что уловил в других или самом себе нечто подобное. Но если быть искренним, то ведь ни для кого не тайна, что это так. Из всех бесчисленных толков, вызванных чириковским инцидентом, явственно звучал один общий мотив: «это» не новость, об «этом» уже давно и много поговаривают. Есть, конечно, люди, которые в таких случаях нарочно затыкали уши — и не только себе, но и другим, в том числе и заинтересованной стороне; и пойдет эта заинтересованная сторона доверчиво дальше по старому пути, не слыша надвигающегося грома, и потом будет захвачена врасплох. Это считается шиком прогрессивного образа мыслей, и ничего не поделаешь с людьми, которым такая тактика по вкусу. Я и не намерен их переубеждать. Пусть притворяются оглохшими и незрячими. А все-таки назревает какое-то облачко и невнятно доносится далекий, еще слабый, но уже неприветливый гул...

Повторяю: то, что назревает в некотором слое русской интеллигенции, не есть еще антисемитизм. Антисемитизм — очень крепкое слово, а крепкими словами зря не следует играть. Антисемитизм предполагает активную вражду, наступательные намерения. Разовьются ли эти чувства когда-нибудь в русской интеллигенции, предсказать нелегко; но пока до них еще, во всяком случае, далеко. То, чем веет теперь, чем так сильно пахнуло из-за завесы, чуть-чуть приподнятой гг. Чириковым и Арабажиным, то не антисемитизм, а нечто отличное от него, хотя родственное и, быть может, служащее предтечей антисемитизму. Это — *асемитизм*. В России это слово мало известно, зато за границей, где куда лучше знают толк в разных оттенках жидоморства, оно давно в ходу. Смысл его легко понятен. Это не борьба, не травля, не атака: это — безукоризненно корректное по форме желание обходиться в своем кругу без нелюбимого элемента. В разных профессиональных сферах оно разно проявляется; в сфере литературно-художественной,

с которой у нас «началось», оно приняло бы форму такого рассуждения: я пишу свою драму для своих и имею право предпочитать, чтобы на сцене ее разыграли свои и критику писали свои. Этак мы лучше поймем друг друга.

Если хотите, не вижу в этом еще невнятном веянии по существу ничего нового. Новое только то, что об этих вещах начинают говорить: прежде считалось, что «эти вещи» сами собою понятны, вслух о них не болтали и просто осуществляли асемитизм на практике. И не со вчерашнего дня, а искони. Ибо что есть двадцатипятилетнее величавое молчание «Русских Ведомостей»? Что есть теперешнее молчание передовых органов? Вот уже пять лет прошло с кишиневского погрома; за это время Россию наводнили книжками и листками, проповедующими племенную резню, десятки уличных газет разносят по всем углам зажженную паклю ненависти к евреям; чуть ли не вся идеология реакционного движения сводится к этой ненависти, и, казалось бы, уже хоть потому, если не из рыцарской потребности заступиться за угнетенного, полагалось русской передовой печати бороться против этой пропаганды. Русская передовая печать почти ничего в этом смысле не сделала. Были постановления каких-то съездов, чтобы газеты энергично боролись с юдофобской пропагандой, и тоже не помогло. Не помогло даже изобилие сотрудников-евреев: знаю по горькому опыту, что самое страстное желание поднять голос на защиту своей народности разбивалось за кулисами даже самых смелых и боевых органов обо что-то неуловимое и неосязаемое. Много интересного можно было бы рассказать на эту тему... Да к чему? Кто того не знает? Теперь образовалось несколько издательств для борьбы с антисемитизмом; оставим в стороне вопрос, много ли помогут они делу; но любопытно то, что их руководители очень близко стоят к влиятельной передовой печати и хорошо понимают, что статья в распространенной газете гораздо полезнее брошюры, которая, Бог весть еще, попадет ли в настоящие руки. И, однако, они вынуждены возиться с этими

брошюрами и не смеют мечтать о борьбе с пропагандой погрома через оппозиционную прессу. Почему?

Как-то я прямо задал этот вопрос руководителям одной редакции и выжал после множества уклонений такой ответ: нас читает интеллигенция, а она в таких поучениях не нуждается. Было это в 1906 г. Хорошо. Но теперь у нас 1909-й. Что-то начинает прокрадываться в русскую интеллигентскую психологию. Если и правда, что тогда русская интеллигенция была иммунизирована от юдофобских предрассудков, то хватит ли у кого-нибудь отваги ручаться, что иммунитет сохранился и ныне? Я самым искренним образом настаиваю, что абсолютно не хочу раздувать чириковский инцидент, но нельзя же отрицать, что во всяком непредубежденном человеке этот случай должен вызвать по крайней мере некоторое подозрение, что не все в психике среднего русского интеллигента осталось по моде 1906 года. А передовые органы опять-таки молчат. Почему? Казалось бы, последняя оговорка — о совершенной благонадежности просвещенного читателя — и та отпала. Почему же снова многозначительное безмолвие?

О, да, очень многозначительное безмолвие! Советую глубоко вдуматься в него читателю обеих национальностей. Твердой рукой подписываюсь под словами г. Арабажина: здесь есть предостережение и вам, и нам. Предостережение тем более серьезное, что поветрие, первые симптомы которого теперь нас так переполошили, — далеко не такая новость на нашей улице, как это может показаться наивному, — ибо зародыши той *асемитической* тенденции, на которую так бесхитростно вслух указали гг. Чириков и Арабажин, давно молчаливо таились во всей тактике русской печати по одному из самых трагических вопросов российской жизни...

Петр Струве

Интеллигенция и национальное лицо

«Инцидент» с г. Чириковым признан «исчерпанным» (см. «Нашу Газету» от 8-го марта). Сам по себе он мало интересен и будет, вероятно, скоро забыт. Но этот случай показал, что нечто поднялось в умах, проснулось и не успокоится. Это проснувшееся требует, чтобы с ним считались и посчитались.

Это нечто есть национальное лицо.

Есть Российская империя и есть русский народ.

Русскую «интеллигенцию» упрекают и обвиняют, — и пишущий эти строки принадлежал к самым решительным обвинителям, — в том, что в ней слабо развит «государственный» смысл. Это верно вообще, но в одном отношении в русской интеллигенции «государственное» решительно возобладало над «национальным». Не знаменательно ли, что рядом с «Российской империей», с этим, в глазах всех радикально мыслящих, официальным, казенным чудовищем-Левиафаном, есть тоже «российская» социал-демократическая рабочая партия. Не русская, а именно «российская». Ни один русский иначе, как слегка иронически, не скажет про себя, что он «российский» че-

ловек, а целая и при том наирадикальнейшая партия применила к себе это официальное, ультра-«государственное», ультра-«имперское» обозначение. Это что-нибудь да значит. Это значит: она хочет быть безразлична, бесцветна, бескровна в национальном отношении.

Вот чего — во имя государственности! — захотела русская интеллигенция.

Я не буду ставить здесь проблемы национального государства. Меня сейчас интересует не эта сложная и громадная проблема.

Для меня важно сейчас подчеркнуть, что ради идеала человеческой, справедливой и разумной государственности русская интеллигенция обесцвечивает себя в «российскую». Этот космополитизм очень «государственен», ибо «инородцев» нельзя ни физически истребить, ни упразднить, как таковых, т. е. нельзя сделать «русскими», а можно лишь воспринять в единое «российское» лоно и в нем упокоить. Но позвольте мне, убежденному стороннику «государственности», восстать против обнаруживающейся в этом случае чрезмерности культа государственного начала. Позвольте мне сказать, что так же, как не следует заниматься «обрусением» тех, кто не желает «русеть», так же точно нам самим не следует *себя* «оброссиивать». Прошу прощения за это варварское слово, но его нужно было выдумать, ибо на самом деле интеллигенция давно «оброссиивает» себя, т. е. занимается тем, что во имя своего государственного идеала безнужно и бесплодно прикрывает свое национальное лицо.

Безнужно и бесплодно, ибо его нельзя прикрыть.

Когда-то думали, что национальность есть раса, т. е. цвет кожи, ширина носа («носовой указатель») и т. п. Но национальность есть нечто гораздо более несомненное и в то же время тонкое. Это духовные притяжения и отталкивания, и для того, чтобы осознать их, не нужно прибегать ни к антропометрическим приборам, ни к генеалогическим изысканиям. Они живут и трепещут в душе.

Можно и нужно бороться против того, что в холодные и бесстрастные веления закона, которые должны быть основаны на государственном начале правового равенства, вторгаются и их суровый строй нарушают эти притяжения и отталкивания.

Это само собой понятно.

Но «государственная» справедливость не требует от нас «национального» безразличия. Притяжения и отталкивания принадлежат нам, они — наше собственное достояние, в котором мы вольны, мы все, в ком есть органическое чувство национальности, какова бы она ни была. И я не вижу ни малейших оснований для того, чтобы отказываться от этого достояния в угоду государственному началу.

Необходимо размежевать эти две области: область правовую и государственную с одной стороны, а с другой стороны — ту область, в которой правомерно действуют национальные притяжения и отталкивания. Специально в еврейском вопросе это и очень легко, и очень трудно. Очень легко потому, что еврейский вопрос формально есть вопрос правовой, вопрос простой государственной справедливости. Очень трудно потому, что сила отталкивания от еврейства в самых различных слоях русского населения фактически очень велика и нужна большая моральная и логическая ясность для того, чтобы, несмотря на это отталкивание, бесповоротно решить правовой вопрос. Но трудность не только в этом. При всей силе отталкивания от еврейства широких слоев русского населения из всех «инородцев» евреи всех нам ближе, всего теснее с нами связаны.

Это культурно-исторический парадокс, но это так. Русская интеллигенция всегда считала евреев своими, русскими и не случайно, не даром, не по «недоразумению». Сознательная инициатива отталкивания от русской культуры, утверждения еврейской «национальной» особности принадлежит не русской интеллигенции, а тому еврейскому движению, которое известно под названием сионизма. Пусть оно порождено юридическим положением евреев

в России, но это факт. Я не сочувствую нисколько сионизму, но я понимаю, что проблема «еврейской» национальности существует, что она есть, пожалуй, в настоящее время даже растущая проблема. А в то же время нет в России других «инородцев», которые играли бы в русской культуре такую роль, какую играют евреи. И еще другая трудность: они играют ее, оставаясь евреями. Неоспорима роль немцев в русской культуре и в особенности в русской науке. Но немцы, оплодотворяя русскую культуру, без остатка растворялись и растворяются в ней не индивидуально, а именно в культурном смысле. Не то евреи, если в самом деле есть еврейская «национальность», как утверждают сионисты. Допустим, что Брюллов был великим живописцем (в чем я сомневаюсь). Можно спорить о том, какая национальность, — немецкая или русская, — в праве претендовать на эту честь, но совсем не тот смысл имеет вопрос, был ли Левитан русским или еврейским живописцем. Если бы я даже был «антисемитом» и если бы конгресс сионистов соборно и официально провозгласил его еврейским художником, я бы продолжал твердить: а все-таки Левитан был *русский* (не «российский»!) художник. И хотя я вовсе не антисемит, я скажу: Левитана я люблю *именно за то, что он русский художник*. Может быть, есть великие еврейские художники, но они в моей душе не шевелят и не могут шевелить ничего такого, что в ней поднимает Левитан.

Эти чувства, — национальные русские чувства, — которые связывают меня с Левитаном и могут меня отталкивать от г. Шолома Аша (с произведениями которого я, впрочем, совершенно незнаком и который есть для меня одно лишь «имя»), не имеют ничего общего с вопросами о черте оседлости и о проценте еврейских студентов. И это нужно понять.

Я и всякий другой русский, мы имеем право на эти чувства, — право на наше национальное лицо.

Чем яснее это будет понято и нами, русскими, и представителями нерусских национальностей, тем меньше в бу-

дущем предстоит недоразумений. Решение национальных вопросов может быть основано лишь на моральных и политических принципах и не должно зависеть от чувств.

В тяжелых испытаниях последних лет вырастает наше национальное русское чувство. Оно преобразилось, усложнилось и утончилось, но в то же время возмужало и окрепло. Не пристало нам хитрить с ним и прятать наше лицо.

P. S.

Моя статья была написана и сдана в редакцию раньше, чем появились статьи Владимира Ж. и В. Голубева.

П. Милюков

Национализм против национализма

Г. Владимир Ж. в «Слове» жаловался на русскую интеллигенцию, на прогрессивную печать и в частности на нашу «Речь», что все мы «замалчиваем» еврейский вопрос. Г. Ж. подразумевает в этом замалчивании молчаливое отмежевание от еврейского вопроса «асемитизм». В «асемитизме» он видит предтечу грядущего «антисемитизма» тех кругов русского общества, которые до сих пор не только оставались чуждыми всякого национального ненавистничества, но и были принципиально и активно ему враждебны.

Г. Ж. может торжествовать. Он выманил медведя из берлоги. П. Б. Струве только что констатировал в том же «Слове», что «нечто поднялось в умах, проснулось и не успокоится. Это проснувшееся требует, чтобы с ним считались и посчитались». Пытаясь определить это нечто, П. Б. Струве называет его «национальным лицом».

Г. Голубев идет еще дальше и определяет обиженное и встревоженное «нечто» как «державную народность». Державная народность отныне не хочет быть «российской». Она хочет быть русской, по утверждению П. Б. Струве. Она заявляет свои права на «национальные русские чувства», которые

могут ее «связывать» с проявлениями национальной культуры и «отталкивать» от проявлений именно еврейской, а не немецкой или итальянской культуры. Оскорбленная русская народность признается в особой «силе отталкивания от еврейства широких слоев русского населения». Выгораживая пока вопрос о еврейском равноправии, как «вопрос правовой, вопрос простой государственной справедливости», русская народность требует в области «чувств», в области «отталкивания» полной свободы проявлений для «национального лица». Это «наше национальное чувство», по признанию П. Б. Струве, «в тяжелых испытаниях последних лет... возмужало и окрепло». «Не пристало нам хитрить и прятать наше лицо», — так формулирует г. Струве основную мысль своей статьи в последней фразе.

Формулированный таким образом вывод далеко выходит за пределы того случайного и чересчур уж по-домашнему разыгранного инцидента между Шоломом Ашем и Чириковым, в который мы не считали нужным вмешиваться. Личная обида г. Чирикова и ее случайное выражение, о котором, кажется, жалеет сам автор, превращается теперь в какое-то затаенное чувство всей русской интеллигенции, которое наконец «проснулось» и требует возмездия. И это «чувство» облеклось в особую национальную державную теорию, властно о себе заявляющую. Г. Владимир Ж., наконец, добился того, что молчание кончилось и то страшное и грозное, что прогрессивная печать и интеллигенция старались скрыть от евреев, наконец обрисовалось в своих настоящих размерах.

Национализм против национализма! Идет старый спор о том, откуда ведьмы — из русского Новгорода или из жидовского Киева. Человеку, который в существование ведьмы вообще не верит, трудно принять участие в таком споре. С двух сторон его объявят непосвященным, ибо предмет спора выше его понимания. Это и есть то «усложненное и утонченное», чем характеризуется «рост нашего национального чувства» в последние годы.

В самом деле, каким оружием борются столкнувшиеся противники? С одной стороны вы видите национализм еврейский, почти в том, наиболее ярком его проявлении, которое называется сионизмом. Этот национализм есть то же «чувство» и та же оправдывающая его «теория». Чувство есть то же чувство обиды, осложненное теми чувствами гнева и мести, какие только могут отложиться в душе гордого и бессильного народа, безнаказанно оскорблявшегося всегда, но сугубо оскорбляемого в те самые последние годы, когда, по словам П. Б. Струве, выросло и окрепло наше национальное чувство. А теория? Вот она в немногих словах.

Вы нас унижаете — мы себя будем возвеличивать. Вы нас обзываете париями — мы напомним вам, что мы аристократы человечества. Ваша «сила отталкивания» возрастет — мы ответим на нее ненавистью к нашим «ассимиляторам», к каждому из нас, кто после этого все еще захочет вам протянуть упорно отталкиваемую вами руку, кто пожелает перебросить хоть тоненькую дощечку над вами же выкопанной пропастью. Вы нас гоните — мы отряхнем прах от ног своих и уходим. Вы отказываете нам в будущем — мы будем оживлять свое прошлое.

Вы не хотите признать нас гражданами общего государства — мы станем гражданами Сиона, мы создадим свой национальный язык, свою литературу, найдем свою территорию. Вы объявляете нас изгнанниками — мы будем громко называть себя иностранцами. И чем хуже вы будете с нами обращаться, тем лучше будет для осуществления нашей великой национальной мечты...

П. Б. Струве «понимает» почву, на которой выросли эксцессы этого больного национализма. Он понимает и только выгораживает русскую *интеллигенцию* от всякой ответственности. Но тут же он переносит с русской интеллигенции на еврейский сионизм всю ответственность за «сознательную инициативу отталкивания». И тут же предъявляет свою обиду, — обиду интеллигента, — и свое право — открыть свое «национальное лицо».

Я боюсь, что, открытое в такую минуту, это лицо будет больше походить на изнанку. Мы видели такое лицо, искаженное и тоже больное, почти лицо сумасшедшего и маньяка. Мы видели его недавно на трибуне Гос. Думы. То ли это лицо, которое П. Б. Струве открывает еврейскому национализму?

Конечно, нет. «Лицо» Б. П. Струве «усложнилось и утончилось» в последние годы. Оно выступает перед нами тоже со всеми признаками национализма, и даже национализма великорусского и великодержавного. Но оно утончило и усложнило себя соответственной теорией. Интеллигенция, — точнее, — та часть ее, от лица которой говорит Б. П. Струве, — это та самая интеллигенция текущей минуты, которая устала от политики и жизни и углубилась во всевозможные «искательства», эстетические, этические и философские. Эта интеллигенция в поте лица своего ищет экзотических формул и гоняется за экзотическими чувствами. Основная, центральная идея этих поисков есть идея чего-то неразложимого, индивидуального, таинственно-открытого в духе, непостижимого мыслью, постижимого чувством, невыразимого логикой, выразимого интуицией и откровением. Это — то мировоззрение «для немногих», которое когда-то, в начале XVIII и в конце XIX вв., создало поколение романтических «гениев», то мировоззрение, которое у нас в России в 40-х годах украсило судороги национального лица, тоже тогда «проснувшегося», красивой вуалью богоизбранности. И нам понятен нелепый на первый взгляд факт, что с таким лицом, во всей его нетронутости, наивности и баспамятности, наш интеллект XX века может спокойно говорить о своем личном праве «отталкиваться от еврейства». Аполитизм нашего интеллигента последней формации непосредственно ведет его по наклонной плоскости эстетического национализма, быстро вырождающегося в настоящий племенной шовинизм.

Я тоже думаю, что старой русской интеллигенции, святой и чистой в своем блаженном неведении, наступил ко-

нец в России с началом новой политической жизни. Я тоже уверен, что многие и многие жизненные утопии, созданные этой интеллигенцией на почве той старой святости, скоро отомрут, чтобы уже не возрождаться больше. Но я уверен также и в том, что наивный «асиметизм» или «антисемитизм», предъявляющий нам свои национальные права на существование, есть тоже один из последних пережитков нашей блаженной интеллигентской невинности. То настроение, которое отвечает национализмом на национализм, — нездоровым национализмом на нездоровый национализм, — есть лишь случайное, не успевшее сознать себя преломление нашей аполитической невинности в гнилой атмосфере современной общественной реакции. Когда эти люди, слепо произносящие слова, реальный смысл которых они забыли или не знали, встретятся с проекцией своих слов в живой действительности, я надеюсь, что чувство реальности, ныне ими утерянное, к ним вернется. Я надеюсь, что тогда они лучше научатся взвешивать свои слова и понимать их общественное значение. И я надеюсь, что время это придет скоро, что оно будет настоящим пробуждением для ближайшего поколения, не изломанного нашей 30-летней войной; а все то, что теперь плавает на поверхности и заполняет авансцену нашей интеллигентской неразберихи, за что теперь цепляются алчущие и жаждущие души, развеется как дурной сон или как китайские тени нашей стилизованной сцены.

Петр Струве

Полемические зигзаги и несвоевременная правда

Моя статья «Интеллигенция и национальное лицо» вызвала ответную статью П. Н. Милюкова. К сожалению, в этой статье нет ни малейшего обсуждения вопроса по существу, есть лишь туманные психологические сближения и догадки, которые я должен отклонить, и столь же туманные социологические пророчества, в которые я не могу уверовать. «Национальное лицо», с которым, по моему мнению, «не пристало хитрить» и которое не следует «прятать», психологически сближается с лицом каких-то, очевидно, крайне правых изуверов, которых г. Милюков видел недавно на трибуне Гос. Думы.

Впрочем, П. Н. Милюков только «боится», что «национальное лицо», о котором я говорю, «будет больше походить на изнанку», и затем успокаивает своих читателей словами, «конечно, нет», для того, чтобы в моем лице завинить какую-то часть русской интеллигенции в том, что она «в поте лица своего ищет экзотических формул и гоняется за экзотическими чувствами».

«Аполитизм» такого «интеллигента последней формации непосредственно ведет его по наклонной плоскости эсте-

тического национализма, быстро вырождающегося в настоящий племенной шовинизм», — утверждает г. Милюков.

Такими полемическими зигзагами П. Н. Милюков сперва успокаивает своих читателей и затем снова на их глазах сводит то «национальное лицо», о котором я говорил, с «искаженным и тоже больным почти лицом сумасшедшего и маньяка» каких-то думских изуверов. А в заключение «настроение», которым продиктована моя статья, объявляется «нездоровым национализмом», порожденным в «гнилой атмосфере общественной реакции», и относительно таких людей, как я, «слепо произносящих слова, реальный смысл которых они забыли или не знали», выражается надежда, что они, встретившись с «проекцией своих слов в живой действительности... лучше научатся взвешивать свои слова и понимать их общественное значение».

Полемические зигзаги кончаются учительным словом.

К сожалению, ни эти полемические зигзаги, ни венчающее их учительское слово не могут оказать на таких людей, как я, ни малейшего действия.

Ибо прежде всего для меня ясен притянутый за волосы полемический смысл тех психологических сближений, которые делает почтенный П. Н. Милюков. Ведь когда он огульно осуждает всевозможные «искательства» — эстетические, этические и философские, — я вправе спросить: почему же, если эти искательства вообще столь вредоносны, газета «Речь» систематически преподносит их образчик своим читателям в статьях Дм. С. Мережковского? Я не виню в этом газету «Речь», ибо гораздо раньше эти «искательства» появлялись на страницах редактируемого мною журнала. Но я говорю об этом для того, чтобы показать, что в «нездоровом национализме», мною обнаруженном, ни при чем «искательства», о которых идет речь, и что по существу вопроса подобное сближение ничего не говорит.

Далее, когда меня пугают «проекцией» моих слов в «живой действительности», я совсем не пугаюсь. Просто это

не аргумент. Ибо так «аграрную программу» партии народной свободы можно опровергнуть ее предполагаемой «проекцией» в виде или всеобщего земельного поравнения, или даже аграрных погромов. И сколько раз мы встречались с тем, что наши взгляды не опровергались по существу, а полемически ставились на очную ставку с такой их «проекцией». Повторяю, это не аргумент в рассуждении по существу, а психологический прием в полемике.

И когда я писал свою статью, я, конечно не «слепо произносил» слова, а хорошо понимал их «общественное значение» и улавливал, какие «проекции» пожелают им дать.

Итак — увы! — мой оппонент ничего не сказал по существу поднятого вопроса. Пожалуй, больше его сказала или по крайней мере откровеннее высказалась «Наша Газета», недоуменно воскликнувшая: «Своевременно ли?»

В самом деле, своевременно ли говорить о «национальном лице» и делать те выводы, которые я сделал?

Как ни велика мудрость, заключающаяся в этом вопросе, я ею воспользоваться не могу, ибо я уже совершил «несвоевременный» поступок. И потому я постараюсь вкратце еще раз подчеркнуть свою мысль или, вернее, некоторые выводы из нее.

К национальным вопросам в настоящее время прикрепляются сильные, подчас бурные чувства. Чувства эти, поскольку они являются выражением сознания своей национальной личности, вполне законны, и принципиальное их подавление и угашение есть глубокая ошибка и великое уродство.

Такое угашение загоняет эти чувства внутрь, и они могут тогда вырываться наружу действительно в искаженном и изуродованном виде и производить настоящие опустошения. Разумное решение вопросов права этим угашением национального чувства не только не облегчается, а, наоборот, затрудняется.

Раз с такой щедростью пускаются в ход варварские слова с греческим отрицанием «а» и раз пошел рядом с «аполи-

тизмом», выдуманным, кажется, С. Н. Прокоповичем, гулять по русской печати «асемитизм», то да позволено мне будет высказать, что этот самый ужасный «асемитизм» — гораздо более благоприятная почва для правового решения еврейского вопроса, чем безысходный бой, мертвая схватка «антисемитизма» с «филосемитизмом».

Ни одна нерусская национальность не нуждается в том, и не требует того, чтобы все русские ее непременно любили, еще менее в том, чтобы они притворялись любящими ее. И, право, «асемитизм», сочетаемый с ясным и трезвым пониманием известных моральных и политических принципов и вытекающих из этих принципов государственных необходимостей, гораздо более нужен и полезен нашим еврейским согражданам, чем сентиментально-дряблый «филосемитизм», не говоря уже о «филосемитизме» вынужденном или стимулированном.

И далее. Я полагаю, евреям полезно увидеть открытое «национальное лицо» той части русского, конституционно и демократически настроенного общества, которая этим лицом обладает и им дорожит. И, напротив, для них совсем не полезно предаваться иллюзии, что такое лицо есть только у антисемитического изуверства. Вот почему, возвращаясь к вопросу, поставленному «Нашей Газетой», я скажу и этим закончу: правда в «национальном вопросе» своевременна, и «национальное лицо», о котором я заговорил, есть не медузова голова, а честное и доброе лицо *русской* национальности, без которой не простоит и *«российское»* государство.

Вас. Голубев

К полемике о национализме

Затрагивать вопрос о национализме действительно, как оказывается, небезопасно. Как только «Слово» заговорило о нем и даже просто поставила его, так тотчас же и со стороны реакционной, и со стороны прогрессивной печати началась атака. Шовинисты «Нового Времени» готовы нас зачислить в свой лагерь. «Речь» заподозрила нас в проповеди «национализма против национализма», в «эстетическом национализме», «быстро вырождающемся в настоящий племенной шовинизм». Г. Милюков так прямо и озаглавил свою статью: «Национализм против национализма», как будто в «Слове» во всех трех статьях, по поводу которых пишет г. Милюков, была чуть ли не проповедь вражды одной национальности к другой. В качестве главнейшего аргумента против статей, помещенных в «Слове», выставляется «гнилая атмосфера современной общественной реакции», в которой будто бы и может быть «то настроение, которое отвечает национализмом на национализм, — нездоровым национализмом на нездоровый национализм». Г. Милюков объявляет поднятие вопроса о национализме все тем же искательством «экзотических формул» и пого-

ней за «экзотическими чувствами», которые являются в результате аполитизма, охватившего нашу интеллигенцию.

Аргументы эти настолько просты, что в сущности на них не стоит и отвечать. Это отписка, которой все можно объяснить, но которая по существу ничего не объясняет, ибо нездоровой атмосферой реакции можно объяснить все, что нам не нравится, ссылкой на эту атмосферу можно ото всего отделаться. «Нездоровая атмосфера» стала своего рода Паулиной. Но в таком случае каким путем и кто же превратит нездоровую атмосферу в здоровую? Или уж наше поколение окончательно осуждено на гибель? Но ведь и дети наши растут в нездоровой атмосфере! Это вопрос далеко не посторонний в той полемике, которая возгорелась около национального вопроса. Те, кто восстает против поднятия подобных вопросов, объясняя их аполитизмом, не хотят уяснить себе того положения, что не все дело в политике, не все сводится к правительству и, скажем еще более общее, к учреждениям. Сама политическая атмосфера, сама реакция и сами учреждения являются результатом деятельности, чувств и настроений людей. Для того, чтобы избыть реакцию, чтобы создать новые учреждения, необходима внутренняя работа в среде самого общества, оздоровление самих общественных сил. А этому внутреннему оздоровлению может способствовать прежде всего работа мысли, пересмотр и критическая проверка всех тех вопросов, которые считались якобы решенными, но в действительности были лишь восприняты как готовый шаблон. И если всякое искание объявлять экзотическим, то общество несравненно дольше останется под гипнозом и воздействием той самой реакции, которой объясняется теперь все, что идет сколько-нибудь вразрез с установившимися шаблонами. То же можно сказать и относительно национального вопроса. Этот вопрос решался в годы нашей революции исключительно с политической точки зрения, с точки зрения прав подвластных русскому государству национальностей. Но это решение вопроса слишком односторонне. Подни-

мая национальный вопрос, мы не только не отрицаем решения его с точки зрения политической, но считаем в этом смысле в главных чертах его решенным. Но жизнь, именно та «встреча с живой действительностью», которая должна, по мнению П. Н. Милюкова, вернуть нас к чувству реальности, как раз и заставляет подойти к национальному вопросу с другой стороны, а именно со стороны чувств и настроений, со стороны внутренней его сущности. Эта же встреча с живой действительностью говорит нам и о том, что отношения между национальностями, населяющими Россию, значительно осложнились после пережитых событий революционного периода. Осложнение это заключается в том, что русская национальность ближе столкнулась с другими национальностями в политической борьбе. Да, в то время был как будто один только враг: это — старый режим. Но старый режим не заключается только в правительстве, а заключается и во многих общественных группах, из которых слагается российское население.

Русская интеллигенция, пересматривая целый ряд вопросов, должна была остановиться и на таком вопросе, как вопрос о монополии на патриотизм и национализм только групп реакционных. Слишком легко отделаться от этой монополии пренебрежительным кивком по адресу этих реакционных групп. Но мы знаем, что после нашего поражения в японской войне среди русской интеллигенции действительно стали смешиваться понятия здорового патриотизма с чисто зоологическим национализмом. Вместе с зоологическим национализмом выброшен был за борт и здоровый патриотизм. Мы упустили из вида, что японские победы подействовали угнетающим образом и на народное, и на национальное чувство. Наше поражение унизило не только бюрократию, а косвенно и нацию. Поражение в японской войне, причины этой войны и ее истинные виновники заставили русскую интеллигенцию перегнуть палку слишком резко, и мы свое «национальное лицо» действительно совершенно спрятали.

Пусть П. Н. Милюков прочтет статьи об идее русской революции в книжке г. Минского, и он увидит там выражение общеинтеллигентского мнения о том, что эта идея заключалась в космополитизме, в общечеловеческих задачах, в осуществлении «социального гуманизма», как определяет идею русской революции г. Минский. Русское же «лицо» исчезло. Русская национальность, сложившимся ходом истории ставшая державной, как государственная национальность стушевалась, как таковая. Но если эта державная национальность, которую опять-таки мы смешали с национальностью данной государственности, данного режима даже, будет оставаться в этом униженном виде, то не подняться в Российской империи никакой другой из живущих в ней национальностей, не избыть нам и реакции.

Мы полагаем, что только подняв русскую национальность, как державную, подняв ее внутреннее чувство, ее самосознание, ее настроение и дух, достигнем мы и того, что будут подняты в своей равноправности и другие национальности.

И если мы говорим о подъеме своей русской национальности, то рядом с этим говорим и о подъеме других национальностей. Гораздо больше уважения будет по отношению к другим национальностям в том случае, если мы будем, признавая себя как нечто особое, признавать и их имеющими особое лицо, чем если будем сливать в нечто неопределенное всех, валить в одну кучу и финна, и еврея, и поляка. Ни тот, ни другой, ни третий не поблагодарят нас за это сваливание в одну кучу, так как все они весьма и весьма различны между собой, различны и от нас.

И я в своей статье ставил лозунгом «соглашение, а не слияние», что не только не означает противопоставления одной нации другой, а означает признание всех особенностей каждой и уважение к этим особенностям.

Н. Минский

Национальный лик и патриотизм

Полемизируя с г. Милюковым по вопросу о национализме и желая доказать, что русское «национальное лицо» игнорировалось до сих пор интеллигенцией, г. Голубев ссылается, между прочим, на мои статьи об идее русской революции, в которых будто бы выражено «общеинтеллигентское мнение о том, что эта идея заключалась в космополитизме, в общечеловеческих задачах», причем «русское лицо исчезло».

В этих словах г. Голубева я не только не узнаю основной мысли своих статей, но вижу прямое ее отрицание, так как в названных статьях я задался целью доказать, что пережитая нами революция была явлением исключительно русским, что в ней отразились только русские история и психология, что она отличалась по своим целям от всех подобных европейских движений и что в этой своеобразности все ее значение. Вместе с тем, в этих статьях я доказываю, что «национальное лицо» народа — это его самое заветное достояние, что только маленькие народности, подобно ничтожным личностям, мечтают о том, чтобы жить как все, быть похожими на других. Народы же, со-

здающие и двигающие историю, неизбежно самобытны, в чем-то главном остаются не растворимыми, пребывают сами собой. Гениальность народная и народная исключительность почти тождественны; гениальные же личности лишь концентрируют те лучи, которые рассеяны в сознании народа, их вскормившего. Почему это так, мы не знаем, но история с неуклонной последовательностью показывает нам, что этот закон обладает универсальной силой. Будь Гомер в десять, во сто раз гениальнее, чем он был на самом деле, он все-таки не мог бы создать ни одной из тех молитв, которые так легко выливались из души еврейских пророков. Будь Исайя во сто раз вдохновеннее, чем он был, он не мог бы нарисовать ни одной из тех картин, которые Гефест с такой легкостью разбросал по щиту Ахиллеса. Лик народа создается его судьбой, и можно с уверенностью сказать, что в творчестве отдельной личности или народных масс нет ничего такого, что не оправдывалось бы судьбой народа.

Г. Голубев странным образом переиначил, словно вывернул наизнанку мысль моих статей. Но в этой неверной передаче я вижу не простой недосмотр или рассеянность, о которых не стоило бы и говорить. Наоборот, мне кажется, что тут сказалось недоразумение органическое, и г. Голубев не увидел моей мысли, потому что она очутилась в слепой точке его мировоззрения. Об этой слепой точке я бы хотел сказать несколько слов, тем более, что ее разделяют с г. Голубевым и г. Струве и другие наши вновь возникшие националисты. Основная ошибка их заключается в том, что они смешивают национальную исключительность народа с его государственной, патриотической исключительностью. Правда, у европейских народов мы почти повсюду замечаем тесную связь между национализмом и патриотизмом. Чем сильнее национальное самосознание народа, тем резче он и государственно противополагает себя другим народам. Никто не станет теперь отрицать, что христианство могло возникнуть только среди евреев, только

на духовной почве, вспаханной словом пророков и мессианством. В христианстве отразились лучшие черты еврейского национального облика, и, однако, идея христианская заключалась в отказе от государственного патриотизма, в отмене всякого различия между эллинством и еврейством, в любви, отрицающей все границы, бегущей дальше всех границ, всеобъемлющей, вселенской. Национальная своеобразность выразилась во всечеловечности, и теперь, глядя на этот процесс на расстоянии веков, мы даже можем раскрыть его причины и смысл.

Выше я сказал, что в личном творчестве нет ничего, что уже не заключалось в национальном сознании. О государственном же сознании следует сказать противоположное: все его содержание обусловлено судьбой личности. Каждая личность, входящая в состав народа, уделяет часть своих сил на образование государственности, которая должна оградить ее от соседей и врагов. Но процесс этого образования бывает двоякий: нормальный, устойчивый, когда личность, участвуя в строении государства, не отрекается от себя, а утверждает в государстве свою самостоятельность, удесятеряет в нем свои силы. Процесс этот похож на процесс образования в организме твердого костяка, скелета, который его носит и придает отдельным членам устойчивость и гармонию. Но есть еще другой путь образования государства, когда личность уничтожает себя в народе, жертвует своими правами для ограждения народной цельности. Рост подобной ненормальной, неустойчивой государственности напоминает тот случай, когда костяк вместо того, чтобы сложиться внутри организма, окружает его внешним покровом. Щит черепахи также отчасти защищает ее от врагов, но в то же время затрудняет ее движения. Наступает момент, когда рост такого щита становится роковым для черепахи и отдает ее беззащитной в когти орлу, который, подняв неповоротливое животное высоко над землей, бросает его вниз на камень, разбивает внешнюю скорлупу и съедает его мясо. Тип первой государ-

ственности мы видим у греков, римлян и у большинства западно-европейских народов, тип второй государственности — у древнего Израиля. Еврейская личность без остатка терялась в народном целом. Вся история евреев — это повесть о союзе их с Богом. Для личности союз этот был роковым. Судьба еврейской личности символизирована в библии в судьбе Иакова, который из борьбы с Богом вышел хромым: «и вывихнулся состав бедра Иакова, когда он боролся с ним». Но Иаков не отпустил Бога, требуя благословения, и Бог в утешение сказал ему: «не Иаков будет отныне называться твое имя, а "Израиль"». Охромев, как личность, еврей поверил в богоизбранничество свое, как народа. Патриотизм поглотил индивидуализм, и еврей, подобно черепахе, осужден был носить костяк своей государственности не внутри себя, а снаружи. И вот римский орел поднял его в свои когти, бросил вниз о скалу Сиона и разбил. Тогда и произошло чудо богорождения. Личность, давно отказавшись от своего эгоизма во имя народного целого, теперь, с крушением этой государственности, перенесла свою любовь дальше, на человечество. Патриотизм погиб, а национальный лик преобразился и засиял вечным светом.

Русское государство сложилось не по типу греко-римскому, а еврейскому. Угроза внешних врагов, начиная с печенегов, продолжая татарами, кончая западными соседями, осталась столь огромной, что вся энергия русского духа ушла в государственность, и московские князья, собирая земли, вместе с тем вбирали в новообразуемое государство священные права личности. Иоанн Грозный предстоит перед нами как абсолютное утверждение государственного единства и абсолютное отрицание личной самоцельности. Оттого рост русской государственности оказался процессом неустойчивым. Оттого и русское национальное самосознание озарилось изнутри светом невозможной среди европейских народов, непонятной им всечеловеческой жалости и любви. Взгляните на глубину народной жизни, на такое явление, как отказ духоборов (в 1895 г.) от ношения ору-

жия. Русские люди, живя в Закавказье, в стране покоренной, отказываются во имя какой-то своей крестьянской правды защищать оружием единство России. Конечно, это измена государственному патриотизму, но можно ли считать поступок духоборов изменой национальному самосознанию, отрицанием своего национального лица или, наоборот, в нем следует видеть самое решительное выявление этих национальных черт? Перенесите взоры на вершины нашей творческой мысли, на Достоевского, который по поводу Пушкина заявляет, что русская национальная особенность заключается во всечеловечности, в умении перевоплощаться в психологию чужих народностей, заменять свое узкое домашнее «нет» вселенским «да». Что же это? Самообольщение возомнившего россиянина или обнаружение интимнейшей черты русского национального лика? Взгляните еще выше — на последнюю вершину русского самосознания — на Толстого, прислушайтесь к его проповеди об отречении не только от личного, но и от народного эгоизма, во имя всеуравнивающей, всепроникающей любви. Так неужели Толстой, в котором весь мир видит воплощение всех лучших свойств русской национальности, неужели и он космополит, неужели и он недостаточно, с русской точки зрения, национален?

Гг. Голубев и Струве, признав себя русскими националистами, вместе с тем сочли логичным примкнуть к асемитизму, т. е. сочли нужным духовно оградить себя или, во всяком случае, отвернуться от еврейского национального лика. Они были бы правы, если бы свое отрицательное *а* приставили ко всякой другой национальности, кроме лишь еврейской. Так, например, русский национальный дух глубоко агерманичен, несовместим с германской национальной психологией, выросшей из индивидуализма, из личной гордыни рыцаря и горожанина и приведшей к ницшеанскому культу «белокурой бестии» и к заповеди «толкни слабого». Но сокровенная сущность семитического национализма — отречение от личности во имя народа,

от народа во имя человечества — не только не противоречит русской национальной идее, но вполне тождественна с ней, является ее старшей по возрасту и младшей по силе сестрой. Недаром пророк земли русской Владимир Соловьев видел в духовном союзе между Россией и еврейством последнюю, мистически светлую точку, к которой движется вся история России. Помню, как я еще юношей присутствовал в актовом зале университета на одной из лекций Соловьева о еврействе. Перед изумленной тысячной толпой стоял бледный аскет покоряющей красоты, с тучей довременно поседевших волос над молодым лбом и с таинственно прикрытыми глазами. Голосом глубоким, с частыми напряженными паузами, он не говорил, а, как власть имеющий, вещал об обязанности русского народа-богоносца духовно слиться с народом еврейским, вечно богорождающим. Признаться, в то время слова Соловьева, глубоко волнуя, казались мне парадоксальными, не историческими, и только долго спустя я понял их сокровенное значение. Еврей духовно чужд всем народам мира и слиться с ним может, лишь отрекшись от себя. Русской личности органически чужда индивидуалистическая сущность европейца или американца. Но нельзя стать националистом русским, не делаясь в то же время националистом еврейским, и наоборот. Тут узел, связанный судьбой, и людям его не разбудить.

Гг. Голубев и Струве, соединяя русский национализм с асемитизмом, лишь обнаружили этим, что они сами стоят спиной к русскому национальному лику, а националистами стали на европейский образец. Французы, немцы, англичане, все — приверженцы к патриотизму во имя национальной идеи. Будем же и мы на них похожи, сделаемся как все, станем не хуже других.

Признаюсь, в просвещенном национализме наших демократически настроенных интеллигентов я вижу менее исторического содержания, чем в «зоологическом патриотизме» наших крайних партий. Национализм истинно-рус-

ских людей, по крайней мере, исторически подлинен. Они тяготеют к идеалу, которым действительно жила допетровская Русь и отчасти послепетровская Россия. Если бы встали из гроба древние русские князья и святители, то они, без сомнения, одобрили бы патриотизм наших крайних правых, которые в своем национальном сознании остановились, замерли, омертвели и в этом отношении похожи на ту массу евреев, которые и после пришествия Христа продолжали считать себя богоизбранным народом и ожидать Мессию. Сам по себе патриотизм наших крайне правых не менее естественен и понятен, чем патриотизм монархиста Бисмарка или даже республиканца Клемансо, который из общей политической амнистии исключил одних антипатриотов. Нашим крайним партиям можно лишь возразить, что их идеал, при всей его исторической подлинности, неосуществим. Государственность, построенная на подавлении личности, обречена на гибель. Истинно-русские люди хотят вернуть нашу историю на тот путь, который неминуемо привел бы к распаду России.

Не то приходится сказать о патриотизме г. Голубева и г. Струве. В нем прежде всего нет исторической плоти. Это — зачатая в сумерках аналогий и рожденная в потугах логики мысль.

Этот рассудочно построенный русский патриотизм по своей беспочвенности может лишь сравниться с еврейским патриотизмом Владимира Ж. и его единомышленников. Ведь и сионисты, твердя о национализме, на деле отворачиваются от подлинного национального лика еврейства и радеют лишь о том, чтобы быть как все, стать не хуже других, создать, как все, литературу, хотя бы и третьестепенную, но на своем собственном языке. Сионисты забывают, что нельзя создать литературу на таком языке, как еврейский жаргон, в котором нет, например, слова для выражения понятия «весна». Да, как это ни странно, но нужно вслух признать тот факт, что евреи за свои вековые скитания по Испании, Германии и Польше так истощили свою энергию в одном усилии со-

хранить свою народную целость и так при этом сузили свою личную жизнь, что впопыхах прямо не заметили, не обратили внимания на такую подробность мировой жизни, как приход весны. Ну, что же, быль и народу, как молодцу, не укор. Ведь нет ничего постыдного в том, что славяне заимствовали свою религию извне, из книг, написанных какими-то древними евреями. Почему бы потомку этих евреев, желающему восстановить свою связь с природой, не заимствовать язык у другого, ближе к природе стоявшего народа? Это ему простится, лишь бы он из этого языка сделал употребление, согласное с его собственной национальной идеей, лишь бы он помнил, что призвание еврейской национальности — это быть вечно богорождающим, и на месте разрушенного храма личности воздвигать новый храм вселенскому и вечному.

Мне, конечно, возразят, что я говорю об идеальных возможностях, которых действительность не знает. Да, будничная действительность их не знает, но в грозные пережитые нами дни, в свете молний этой великой исторической грозы, кто хотел, тот мог увидеть подлинный национальный лик и русский, и еврейский. В этом свете, прежде всего, стало очевидным, что кроме государственности внешней, насильственной, захватывающей, возможна еще — и не в мечтательном сне, а в исторической яви — другая государственность, восторженно-доверчивая, широко дающая, божественно-щедрая.

Е. К.

Сумерки

Бросили камешек в стоячую воду, и пошли круги, вода взволновалась. Гг. Чириков и Арабажин сказали на частном ужине какое-то, быть может, неловкое слово; слово подхватили, смысл его исказили, — и пошла писать губерния. Из слова сделали «дело» и, надо сказать, прескверное дело. Прокуроры и следователи, впрочем, плохо сговорились между собою, и потому получилось два разных обвинения. Одни начали обвинять кого-то в «культурном антисемитизме», другие — в преступном попустительстве, «асемитизме». Явились и третьи, истинно-откровенные люди, находящие нужным выковыривать каждое чувствице, которое зашевелится у них в душе, выносить его на публику, бить себя в грудь и каяться: каемся, каемся, — есть и в нас чувствице, не хотим скрывать его, каемся публично, всенародно... Конечно, никому не возбраняется петь покаянные псалмы и обнажать свою душу.

Не стоило бы и внимания обращать на все эти интимности, если бы не такое сумбурное время, когда за насильственным затенением действительно живых и серьезных «вопросов» публику угощают всякой их фальсификацией.

Никому не приходило, например, в голову отрицать чувственную сторону в человеческих существах. Романисты писали о любви, поэты ее воспевали, гигиенисты писали трактаты о нормальных проявлениях полового чувства, моралисты устанавливали грани между «средне общественно-необходимым проявлением» этих чувств и тем, что выше среднего, — развратом.

Но наступили сумерки, и на фоне их, как из земли, вырос яркий силуэт: Санин. Этот «тип» при всем честном народе начал вдруг показывать разные фокусы чисто животной чувственности, не осложненной никакими духовно-моральными переживаниями. В результате вышел «вопрос», а из вопроса — порнография... Г. Санин не только сам стал развратничать, но и приглашать к этому других. Люди бросились освобождать свои «тела» от накинутых на них цивилизацией духовных одежд. Частный человек, Санин, вдруг возвысился до человека *общественного,* — страшно сказать: до проповедника «новой морали»...

Никто также в здравом уме и твердой памяти не станет отрицать существования религиозных чувств. Были и будут люди верующие. *Для себя* они строили храмы, *для себя* устраивали богослужения, *для себя* устраивали диспуты о догматах веры, о божестве и его проявлениях. Были и такие, которые в душе свой таили веру, но считали ее глубоко-интимным делом, частным делом человеческой души, не подлежащим ни облечению в обряды, ни, тем более, вынесению на улицу.

Но наступили сумерки, и на фоне их — богоискатели. Они схватили образ кроткого, страдавшего за веру Христа и потащили его в шумное и пестрое «общество»... неверующих людей. Они расписывали яркими красками достоинства великого Учителя и Его веры, давали людям неверующим побивать Его камнями своего неверия, своего отрицания, они примешали к вере политику, пытаясь соединить чисто религиозное движение, освобождение от принудительных догм господствующей церкви с дви-

жением политическим, с освобождением от полицейской опеки государства. Частное дело *совести каждого* стало делом публичным. Людей стали *принуждать* уверовать, ибо без веры, без Христовой веры... их по-прежнему будут тащить в участок. Покайтесь, неверующие, ибо не узрите царства небесного. Народ наш верует, поверьте и вы. Только в вере соединитесь вы с народом.

Так звучала в сумерки проповедь религии! Искусственно гальванизировались трупы неверия, и вливалась в них... религиозная словесность.

Из частного дела свободной души был сделан «общественный вопрос», из религии — политика.

Никто даже до сих пор не сомневался в существовании в каждом из нас национального чувства. Лермонтов, несмотря на своих шотландских предков, писал:

Нет, я не Байрон, я другой,
Еще неведомый избранник,
Как он, гонимый миром странник,
Но только с *русскою* душой.

Вот эта «русская» душа среди других гонимых сказывалась постоянно и у наших эмигрантов, какой бы космополитизм ни проповедовали они в теории, в идеале. Язык, территория, общность исторических традиций связывают людей невидимыми нитями и создают в них то невесомое, неуловимое, что можно назвать «национальным» чувством.

Как источник этого чувства, так и *существо* его, существо сложное, живое и живучее, — несомненно законны, и к вопросу национальному во всем его объеме нам придется вернуться еще не раз. Этот вопрос нельзя просто отодвинуть. Но нельзя его и решать с точки зрения какой-то «державной народности», да еще в такой момент, когда сама-то эта народность ни о какой «державности» помышлять не может. Но сейчас мы хотим затронуть только некоторые стороны этого вопроса.

Сопровождается ли это своеобразное чувство близости людей, создаваемое принадлежностью к одной нации, чувством «отталкивания» ко всем другим национальностям? На низших степенях культурного развития — да, сопровождается. С развитием же культуры, с *утончением* нравов общежития, наконец, с космополитизмом литературы, науки, торговых сношений и пр., пр., это «отталкивание» не только не дает уже себя чувствовать, но, наоборот, считается дурным пережитком, атавизмом, от которого культурный человек стремится избавиться. На антисемитов, например, т. е. на людей с сильно развитым «отталкиванием» от евреев, всякое культурное общество смотрит теперь как на свои подонки, отбросы, которые будут вывезены за околицу с дальнейшим развитием очищающего влияния культуры. Образовалось два лагеря: лагерь людей, за чертой культуры находящихся, — гонителей евреев, черных сотен, всех людей с более или менее ярко выраженным чувством отталкивания от еврея *только потому, что он — еврей*, и лагерь людей в черте культуры — людей, хорошо знающих и чувствующих национальную разницу двух типов — русского и еврея, но *отталкивающихся* или *притягивающихся* к еврею *не только потому, что он еврей*. Для этого последнего лагеря людей принадлежность к тому или иному культурному слою имеет уже и *чувственно* гораздо большее значение, чем принадлежность к нации, *каковы бы* ни были ее особенности. Для таких людей «истинно-русский», мечтающий об изгнании евреев из своей страны, столь же отвратителен, как и узкий сепаратист — «истинный еврей», или «истинный поляк», мечтающий о сектантском *царстве для одних евреев, для одних поляков*. И тот, и другие стоят вне современных понятий о культуре. С ними может быть культурная борьба, но их вопросы никогда не могут стать на высоту вопросов общественных.

Но пришли сумерки, и померкли старые боги культуры. В средневековщине ищут новых теорий, мелкие антисемитические чувствица стремятся вложить и в душу куль-

турного интеллигента. Стремятся даже новым людям, социалистам, этим «гонимым миром странникам», привить «русскую» душу в ее самом неприглядном виде: в виде души, инстинктивно якобы отталкивающей другие национальности.

Впрочем, это, кажется, самый нестрашный из сумеречных призраков: российские мотивы до такой степени громко звучат в душе русского интеллигента, что загнать его в шовинистическое русло никому не удастся, какая бы теория для «соблазна» одного из малых сих ни выплывала на сцену. Но стряхнуть с себя эти сумерки следует: они становятся совсем уж неэстетичны...

Д. Левин

Наброски. [I]

Мне хотелось бы сказать теперь несколько слов о так называемом чириковском инциденте.

Но, кстати, почему «Речь» молчала об этом инциденте?

С этим вопросом к «Речи» обращались с разных сторон, подступали с ним настойчиво, как с ножом к горлу. Вопрошало «Новое Время», вопрошал «Рассвет» (есть такая сионистская газета), особливо вопрошал г. Владимир Ж. в «Слове». Производился форменный допрос с пристрастием, с употреблением газетной дыбы и моральных испанских сапог.

Надо, дескать, нажать в местах особенно чувствительных — небось, заговорят! Дыба и испанские сапоги должны вынудить «признание», разумеется, признание в преступлении, в одном из тягчайших, так сказать, государственных преступлений по уголовному уложению национализма — национализма «Нового Времени» или «Рассвета»: уголовный кодекс-то у них один — в национальной «трусости» или национальной «измене», или в том и другом вместе. Ибо всякий национализм есть, воистину, огонь поедающий, который не выносит не то что холодного, а просто

разумного, рационального отношения себе; он ревнив и ненасытен и требует горячности, страстности и... подобострастия. Его естественный закон: кто не за меня, тот против меня, тот — враг. И это не только естественный закон национализма, но его естественный, природный грех, его «рок», который всесильно властвует над всем его идейным и практическим развитием.

Но об этом еще речь будет впереди. Пока мы еще стоим на почве чириковского инцидента. Почему «Речь» молчала о нем? Мне кажется, что самый инцидент дает вполне удовлетворительный ответ на этот вопрос. Ведь все те, которые заговорили, спешили предупредить, что они высказались только «по поводу», что самый инцидент не стоит того, чтобы на него тратили слова, чернила и бумагу. В самом деле, по какому случаю вышел этот шум? Случай совершенно ничтожный и вздорный. Один из участников, из героев инцидента, г. Арабажин, кричал о нем в двух газетах как о «возмутительной истории». Возмутительная — это слишком сильно сказано, но «история», — пожалуй: сконапель истоар. Пребывай эта «история» в своих собственных границах, публике до нее не было бы решительно никакого дела. Тем более, что в ней все так просто, ясно и естественно, ни интриги, ни загадки, ни сенсации, что может иногда привлечь внимание публики к вздорному пустяку. Г. Шолом Аш написал пьесу, которая не понравилась г. Чирикову; г. Чириков написал пьесу, которая не удовлетворила вкусу театральных рецензентов. Г. Шолом Аш, услышав нелестный суд г. Чирикова, в горячности заявил или предъявил отвод: пьеса его еврейская, а г. Чириков русский, и поэтому он не может правильно оценить достоинства пьесы. Эта теория национальной критической подсудности была немедленно усвоена г. Чириковым, который и применил ее к оценке своей «Белой вороны». «Белая ворона» — русская пьеса, а некоторые из театральных рецензентов, отозвавшихся о ней неодобрительно, евреи; следовательно, их отзыв уважения не заслуживает. Может быть, — да, а может

быть, — нет; ведь и неправильная общая теория может случайно оправдаться на одном конкретном факте. Возможно, что пьеса г. Чирикова талантливая, а критики его — слепые кроты, возможно это и относительно пьесы г. Шолома Аша и критического отзыва о ней г. Чирикова. Но где ручательство за то, что пьесы этих авторов должны быть непременно перлами создания? А если такого ручательства нет, то ведь возможно, что правда была на стороне критиков, а не авторских самолюбий. Но, наряду с этим, вполне понятно, откуда появился отвод о критической неподсудности. Г. Шолому Ашу гораздо легче доказать, что г. Чириков русский, чем доказать наличность драматического дарования в своей пьесе; г. Чирикову гораздо легче доказать, что некоторые из рецензентов «Белой вороны» — евреи, чем то, что их отзывы о «Белой вороне» были несправедливы. Раздраженное авторское самолюбие стремится оттолкнуть от себя то, что раздражает, и, разумеется, самый легкий и общедоступный способ для достижения цели состоит в том, чтобы раздражающий объект или субъект был подвергнут действию тех национальных «отталкиваний и притяжений», о которых заговорил Петр Струве в «Слове», «которые живут и трепещут в душе» (слова Струве), да и сами составляют душу — душу национальности.

Тут мы и вступаем наконец в самую сердцевину вопроса. Потому что и я заговорил только по поводу чириковского инцидента. Пока раздавался только один крик «Белой вороны», о нем не стоило говорить; когда на этот крик отозвались со всех сторон стаи черных ворон — о нем не следовало говорить. Но вскоре уже послышался общий птичий гомон, и многие торопливые люди готовы заявить, что это и есть музыка будущего, что птицы недаром запели, что это близится новая «весна», новое «возрождение». И в особенности, когда пришел Струве, которого не помню кто назвал Иоанном Крестителем всех наших возрождений, и исполнил свое назначение, т. е. освятил и дал имя новому явлению, молчать о нем решительно невозможно.

«Когда-то думали, — читаем мы в статье Струве, — что национальность есть раса, т. е. цвет кожи, ширина носа и т. д. Но национальность есть нечто гораздо более несомненное и в то же время тонкое. Это — духовные притяжения и отталкивания, и для того, чтобы сознать их, не нужно прибегать ни к антропометрическим приборам, ни к генеалогическим розысканиям. Они живут и трепещут в душе».

Известно ли Струве, что эти поэтически-трепещущие в душе, неосязаемые «притяжения и отталкивания» на деле выражаются очень часто в грубых толчках и подзатыльниках — и в не менее грубых медвежьих объятиях?

Конечно, это ему небезызвестно. И он думает спасти национальную душу от превращения в механику насилия путем размежевания двух областей: области правовой и государственной, с одной стороны, и, с другой стороны — области, в которой правомерно действуют «национальные притяжения и отталкивания».

С виду это очень просто и не вызывает возражений. Но... тут есть целый ряд «но».

Прежде всего, как высвободить область государственную и правовую из сферы «национальных притяжений и отталкиваний»? Ведь возможно, — да так оно и есть в действительности, — что именно в государственной и правовой области эти национальные притяжения и отталкивания действуют с наибольшей силой. Разве государственное и правовое творчество находится вне влияния национальной души, о которой мы уже знаем, что она соткана из национальных притяжений и отталкиваний? Вот в том же «Слове», где напечатана статья Струве, В. С. Голубев тоже приветствует г. Чирикова как первую ласточку национального возрождения, и В. С. Голубев заговорил о государственной национальности и особой ее национальной психике в отношении к прочим негосударственным национальностям. Как, например, Струве справится в этом вопросе с г. Меньшиковым, который национальные притяжения и отталкивания сует в государственную и правовую

область по преимуществу, и которому идеальное устройство человечества рисуется в виде зверинца, где отдельные национализмы рассажены за железными решетками отдельных государственных клеток, и откуда они выпускаются только для взаимного истребления?

И эта трудность небезызвестна Струве. Она предстала перед ним, как только он коснулся еврейского вопроса. Необходимо размежевать две области — это так; но «специально в еврейском вопросе это и очень легко, и очень трудно. Очень легко, потому что еврейский вопрос формально есть вопрос простой государственной справедливости. Очень трудно, потому что сила отталкивания от еврейства в самых различных слоях русского населения фактически очень велика, и нужна большая моральная и логическая ясность для того, чтобы, несмотря на это отталкивание, бесповоротно решить правовой вопрос».

Нужна большая моральная и логическая ясность. Это ведь не безделица, и можно было бы поставить вопрос, в каком отношении находится прогресс этой моральной и логической ясности к многообещающему национальному «возрождению», первой ласточкой которого был г. Чириков?

Но мы поставим не этот вопрос, а другой. Нужна моральная и логическая ясность, чтобы вытеснить темные национальные притяжения и отталкивания из государственно-правовой области; значит, в этой области национальные притяжения и отталкивания подчиняются началам моральным (государственная справедливость) и логическим, вообще разумным (государственная целесообразность).

Но разве в других областях общественной жизни, в области экономической, в бытовой сфере, наконец, просто в отношении человека к человеку не должно быть места ни нравственному началу, ни началу разумной целесообразности. И когда эти начала приходят в столкновение с национальными отталкиваниями, кто кому должен уступить, кто над кем должен взять верх?

Одно из двух. Или национальные притяжения и отталкивания довлеют себе и не знают над собою иного господина, иного бога, кроме себя: тогда не святотатство ли изгнать этого бога из его святилища, из здания государственности и права? Или эти национальные притяжения и отталкивания подчиняются началам нравственности и разумной целесообразности: тогда нет резона провозглашать их самодержавие во всех областях общественной и культурной деятельности, кроме только государственно-правовой.

Мне кажется, что от этой дилеммы нельзя отделаться чисто словесным указанием на область, где «*правомерно* действуют национальные притяжения и отталкивания». Ибо в том-то и вопрос: где эта область находится и каковы ее границы?

Свою мысль Струве иллюстрирует примером из области художественного творчества. Но эта тема столь обширная, что о ней надо поговорить особо.

Д. Левин

Наброски. [II]

Бежит волна, шумит волна... Я должен был остановиться на эстетическом примере (с художником Левитаном), который был приведен в статье Струве для пояснения его мысли — или спутанности этой мысли — о национальных притяжениях и отталиваниях как сущности национальной души. Но в «Слове» появилась новая статья Струве, в ответ П. Н. Милюкову, и в ней есть любопытный пассаж, в котором указанное выше свойство основной мысли Струве обнаруживается еще яснее. «Правда в национальном вопросе своевременна, — заявляет Струве, — и «национальное лицо», о котором я заговорил, есть не медузова голова, а честное и доброе лицо *русской* национальности, без которого не простоит и *российское* государство». Правда всегда своевременна, как бы горька она ни была, и даже, напротив: чем горше, тем своевременнее. Но никто не предлагал Струве прятать свою правду под спудом, — вопрос только в том, точно ли на его стороне горькая правда, или эта горькая правда свидетельствует против него. «Национальное лицо» не голова Медузы, а честное и доброе лицо русской национальности.

Нечто подобное я не раз встречал даже у г. Суворина, и почти в тех же выражениях, — и я готов с этим согласиться по существу, даже когда о национальной честности и доброте говорит г. Суворин. Но вот чего нельзя понять. Каким образом честность и доброта, эти характерные, типичные черты национального русского лица, связываются в представлении Струве с теми национальными «притяжениями и отталкиваниями», в которых он полагает душу русской, как и всякой другой национальности? Что такое честность — входит ли она в механику национальных притяжений или национальных отталкиваний? Что такое в этом же механическом смысле доброта? Думает ли Струве, что одни только русские люди взысканы от Господа честностью и добротой, а все прочие народы земли, немцы, французы, англичане, коснеют в злобе и подлости? Есть националисты, которые так думают, которые отделяют себя от остального человечества, приписывая себе все добродетели, а ему все пороки, и делают это с той целью, чтобы можно было без зазрения совести смотреть на человечество приблизительно так, как крыса смотрит на кусок сыра. Но если отрешиться от этой точки зрения, то едва ли найдется положение более бесспорное, чем то, что честность и доброта это, во-первых, качества общечеловечские, более того, *человечные* по преимуществу, и, во-вторых, что честность и доброта относятся скорее к общечеловеческой *солидарности*, чем к системе исключительных национальных «притяжений и отталкиваний». Правда, доброта и честность на русском национальном лице проявляются с особым оттенком. Русская доброта отличается, может быть, от немецкой; возможно, что она меньше пропитана сентиментальностью и поэтому в ней меньше склонности к самоумилению перед собственной чувствительностью, меньше слезоточивости и расслабленности. Этот оттенок может внушить симпатию, но не потому ли, что он придает русской доброте характер большей простоты и *человечности*, большей *гуманности*? Другими сло-

вами, — что он приближает в известном отношении русскую доброту к идеалу *человеческой* доброты вообще (хотя в других отношениях русская доброта отстает от этого идеала дальше, чем та же доброта у других народов). Точно так же и русская честность отмечена своеобразным национальным отпечатком. Русская честность вытекает не столько из внутреннего категорического императива, поставленного волей, не из самоутверждения этой воли, а из подчинения объективной правде, правде объективной действительности, которую не надуешь — на то она и действительность.

«Неправдой весь свет пройдешь, а назад не вернешься». Это имеет и свои хорошие, и свои дурные стороны. Хорошая сторона или одна из хороших сторон заключается, например, в том, что русская честность реже перерождается в фарисейство, в самодовольство собственным нравственным превосходством. Черта очень милая и ценная, но опять-таки потому что благодаря ей русская честность выступает без щетинистых претензий, в облике более простом и мягком, более человечном, более *гуманном*. Значит, привлекательность доброго и честного лица русской национальности не в том ли и состоит, в чем и поскольку сквозь черты этого «национального лица» просвечивает лицо человеческое, «лик» человеческий вообще?

«Национальное лицо» Струве — это честное и доброе лицо русской национальности. Повторяю, я против этого по существу не спорю. Но много ли честности и доброты в современной русской жизни? Отчего «лицо» сияет честностью и добротой, а жизнь темна неправдой черной, темна подлостью и злобой? Оттого, отвечает Струве, что нет простора игре «национальных притяжений и отталкиваний». Но как раз там, где игра эта допускается с наибольшей свободой, свободой стихийной и сознательной, преднамеренной, именно в сфере так называемых национальных вопросов мрак русской жизни всего гуще... Если честность и доброта типичны для национального лица, то показать

лицо может означать только стремление просветить и самую жизнь человечностью и добротой.

Но вместо этого Струве предлагает усиленно развернуть систему «национальных притяжений и отталкиваний». Что же он нам показывает — национальное лицо или национальные локти?

П. Милюков

«Отталкивание» или «притяжение»?

Мои оппоненты не нашли «существа дела» в моей статье о конфликте двух национализмов. Я надеюсь, что они найдут теперь это «существо» в прекрасных статьях г. Е. К. и Д. А. Левина. Но оба оппонента отвечали и мне — и отвечали по «существу», несмотря на «полемические зигзаги». Оставив зигзаги в стороне, я должен констатировать, что и П. Б. Струве, и В. С. Голубев теперь укрепили и углубили свои тезисы. Но они углубили их, к сожалению, именно в том направлении, которое мне казалось и кажется глубоко ошибочным и прискорбным. Вот почему не могу и я не вернуться к теме.

В. С. Голубев упрекнул меня в том, что я обвиняю известную часть интеллигенции «чуть не в проповеди вражды одной национальности к другой». Я, собственно, не обвинял, — я даже оправдывал. После заявлений П. Б. Струве было бы невозможно отрицать укрепление националистической «силы отталкивания» в интеллигентской душе новейшей формации. Но я предположил, одинаково с Е. К., что этот печальный факт есть лишь один из «сумеречных призраков», что он не имеет прямой связи с возросшей «си-

лой отталкивания в широких массах», а является только преходящим продуктом интеллигентского каприза мысли, «невинного» в политике. Я лишь устойчиво указывал на вред и опасность, которые произойдут, если интеллигентская «сила отталкивания» будет культивироваться в том же направлении, как и массовая.

Что же отвечает П. Б. Струве? «К национальным вопросам прикрепляются сильные, подчас *бурные чувства*. Чувства эти, поскольку они являются выражением сознания своей национальной личности, *вполне законны*, и принципиальное их подавление и угашение есть глубокая ошибка и великое уродство». Я предоставляю другим определить, где точная граница между этим санкционированием «бурных чувств» и... «проповедью вражды одной национальности к другой»...

П. Б. Струве утверждает, что сведение его взглядов на «очную ставку» с их последствиями в действительности — есть «не аргумент», а полемический прием. Но он доказывает это иллюстрацией, которая обращается против него самого. «Так и аграрную программу партии народной свободы можно опровергнуть ее предполагаемой «проекцией», в виде ли всеобщего земельного поравнения, или даже аграрных погромов», — говорит П. Б. Струве. Совершенно верно, отвечу я. Если бы наша аграрная программа приводила к подобным последствиям, вместо того, чтобы предупреждать их, то это был бы сильнейший аргумент против программы. И если общественной «проекцией» статей П. Б. Струве будет поцелуй Меньшикова и приветствие «России», то, как хотите, для меня это — сильнейший аргумент против узаконения «бурных чувств» теорий П. Б. Струве. Я согласен с г. Е. К., что «бурные чувства» надо укрощать, иначе мы рискуем остаться с нашим национальным лицом по ту сторону культуры.

Когда-то П. Б. Струве очень старался привить нашей интеллигенции идею «государственности» как высшего целого, как выражения «национальной *российской* идеи».

Этот фазис, «огосударствление» нашей интеллигенции, П. Б. Струве, по-видимому, считает уже достигнутым. И теперь он предлагает вступить во второй фазис: «разгосударствление» русской части интеллигенции, чтобы она могла, свободная от государственных пут, показать свое «национальное лицо» другим «российским» народностям. Слово «национальный» по отношению к *русской* части населения, очевидно, уже получило у П. Б. Струве иной смысл, чем имело по отношению к высшему государственному «российскому» целому. Не знаю, спустится ли П. Б. Струве через несколько времени еще на ступень ниже и раскрепостит ли он от «русского» национального единства «великорусское лицо». Но его сотоварищ, В. С. Голубев, это уже делает теперь. В своей новой статье он развивает дальше свою идею о «русской *государственной национальности*», как она «сложилась ходом истории». В аргументации П. Б. Струве эта грань между государственной и культурной национальностью еще соблюдалась, хотя и чрезвычайно искусственно. У В. С. Голубева грань окончательно стирается. Оперируя над *русской* национальностью, он забывает ее «разгосударствить».

Как видим, оба автора очень далеко ушли от своей исходной точки — невинного спора Чирикова с Шоломом Ашем. Им, однако, нужно к этой точке вернуться. Нужно показать в конце концов не то «национальное лицо», которому разрешаются всякие «бурные чувства», а просто «честное и доброе лицо» русской интеллигенции, которая, хотя многое успела позабыть, но многому еще не успела научиться. И вот начинается более или менее искусное вытаскивание «честного и доброго лица» из этой ямы, в которую посадили русского интеллигента оба автора, — по уверению П. Б. Струве, совершенно сознательно.

Оба начинают уверять, что вожделенная цель, равноправие «российских» народностей, лучше всего достигается не старым методом «слияния», а как раз новым методом «отталкивания».

П. Б. Струве пользуется для этого тем же самым термином «асемитизм», толкуя его по-своему и как бы не подозревая, что «асемитизм» не выдуман г. Владимиром Ж., а имеет весьма определенное значение. П. Б. Струве смело принимает обвинение в «асемитизме» и начинает доказывать, что «этот самый ужасный асемитизм — гораздо более благоприятная почва для правового решения еврейского вопроса, чем безысходный бой, мертвая схватка "антисемитизма" с "филосемитизмом"». Аргументация ведется, впрочем, довольно коротко. Просто «филосемитизм» — «сентиментально-дрябл», а подчас и «вынужден или симулирован». П. Б. Струве еще стесняется сказать прямо: «подкуплен». «Асемитизм» же не «притворяется любящим» евреев: это и есть «открытое национальное лицо» части общества, настроенной «конституционно и демократически», и он «гораздо более нужен и полезен нашим еврейским согражданам». Не знаю, согласятся ли с П. Б. Струве «еврейские сограждане». Знаю только, что конституционные и демократические элементы русского общества, мне известные лично, в огромном большинстве от «национального лица», открытого П. Б. Струве, предпочитают отвернуться.

Другим путем приходит к тому же благополучному выводу В. С. Голубев. По его наблюдениям, в последние годы «русская национальность ближе столкнулась с другими национальностями в политической борьбе» и благодаря этому поняла ошибочность своего прежнего взгляда, «будто один только враг — старый режим». Оказалось, что «старый режим не заключается только в правительстве, а заключается и во многих (?) общественных (стало быть, не национальных!) группах, из которых слагается российское население». Казалось бы, что последствием нового понимания должна была бы быть более ожесточенная борьба «державной национальности» с другими, конкурирующими. Но у В. С. Голубева выходит иначе. «Признавая себя как нечто особое», мы тем самым будем испытывать «гораздо

больше уважения» и по отношению к другим национальностям: будем «признавать и их имеющими особое лицо» и, «подняв русскую национальность как державную, достигнем и того, что будут подняты в своей равноправности и другие национальности». Таким образом, и по мнению В. С. Голубева равноправие получится не из какого-нибудь «фильства», а из конкуренции народностей, которые «столкнулись в политической борьбе» и одна из которых есть — державная народность.

Надо очень уж увлечься поисками «национального лица», чтобы не заметить всей искусственности и натянутости подобной аргументации. По-видимому, и сами мои оппоненты не вполне на нее полагаются. Оба они сильно рассчитывают, помимо своих собственных надежд, на «асемитизм» и на «уважение державной народности» к недержавным, еще и на «ясное, трезвое понимание известных моральных и политических принципов и вытекающих из этих принципов государственных необходимостей». Я думаю, что если бы оба они прямо начали с изложения тех «моральных и политических принципов», о которых здесь идет речь, то, может быть, удалось бы сразу, без всяких хитросплетений выйти из того сомнительного положения, в которое они себя поставили. И мы увидели бы сразу «честное и доброе лицо» русской интеллигенции, очень часто плутающей и во всяческих дебрях, иногда страдающей повышенной нервностью, но всегда, даже в самых сомнительных положениях, инстинктивно умеющей сберечь свое «честное и доброе лицо»... даже от нововременских поцелуев.

М. Винавер

Открытое письмо П. Б. Струве

Многоуважаемый Петр Бернардович!

Пишу вам по поводу вашей статьи о национальном лице. Прошу извинения за полную откровенность, но скажу сразу: я считаю ваше отношение к чрезвычайно острой проблеме крайне поспешным и не продуманным до конца. Оговариваюсь, что принципиально я ничего не имею против основного положения вашего о «национальном лице» и об отношении государственного начала к национальному. Поспешность же вижу в том, что, выставив эту общую схему, вы затем в области применения ее к еврейскому вопросу бросили несколько туманных пятен, запнулись на Левитане и не сумели из этой подмеченной вами же особенности еврейского вопроса сделать никаких выводов. И тем не менее, не сделавши этих выводов (а кто знает, в какой мере они подошли бы под общую схему?), вы, однако, поспешили с некоторой страстностью противопоставить евреям не «российское», а «русское» национальное лицо. Должен сознаться, что в вашей статье поразило меня то же, что выступало в более резкой форме в замечаниях Чирикова, как они изложены им самим в печати. Поразила меня

та оборонительная поза, которую вы считаете нужным занять, когда заговариваете о русском национальном чувстве. От кого вы обороняетесь? Кто на вас нападал? Кто вам мешал быть национально-русским человеком — в вашем благородном смысле слова? Между тем Чириков в ответ на замечание, что он не знает еврейского быта (да и почему он обязан знать его?), вскрикивает, как ужаленный: «Да, я русский, не истинно-русский, а просто русский... впрочем, мне все равно, как вам будет угодно это признать». *Он* с этим выкриком обращается к евреям, — *вы* обращаетесь к радикальным элементам русского общества, но ужалены и вы тем же еврейским инцидентом. Мало того: вы тут же, под этим же впечатлением свидетельствуете за счет всего русского народа, что в самых различных и широких кругах его сила отталкивания от еврейства гораздо значительнее силы притяжения, — бросаете неосмотрительно эту тяжелую гирю на весы наших судеб в минуту, особенно для нас трудную, когда именно под этот напев наступает нам на горло вся сплоченная правительственно-реакционная клика, а до государственных принципов правового строя, на которые вы рассчитываете, — как вы знаете, — еще очень далеко. И говорите все это — повторяю — не вполне продуманно; ибо поверьте: нам, евреям, несмотря на испытанные нами погромы и притеснения, эта самая жгучая для всего нашего бытия проблема — о стихийном «отталкивании» — представляется далеко не столь мрачной, как она показалась вам минуту, когда вас ужалил еврейский инцидент.

И, наконец, самое главное, что я хотел вам сказать, что входит отчасти в область вопроса о Левитане и пр. Неужели вы не понимаете, в чем состоит национализм группы, рассеянной среди другого народа, — группы, дорожащей своим унаследованным от веков добром, но питающейся самым интенсивным образом окружающей ее культурой, — перерабатывающей изо дня в день свое изначальное содержание, созидающей новые, смешанные, но столь же богатые формы, более близкие то к одной,

то к другой формации (Левитан, Антокольский, Рубинштейн — у нас; Гете, Берне, Маркс — у немцев), — не понимаете ли, спрашиваю, национализма такой группы, которая видит свою задачу, свою гордость в охране и дальнейшем развитии своих культурных ценностей, — которая не отталкивается, а, наоборот, находится и должна оставаться в ближайшем соприкосновении и взаимодействии с культурными элементами, ее окружающими? Иначе, конечно, в совершенно других, созданных историей условиях творил и творит то же культурно-национальное дело русский народ, творит свободно и естественно, до такой степени естественно, что вы этого как будто и не заметили. Думаете ли вы, что национальная мощь русского народа устоит крепче, когда вы сведете всю ее гордость к традициям, которыми она жила и питалась в качестве особого племенного целого? Ведь вы не полагаете, как Меньшиков, что в самом деле и русская мысль, и русское искусство, и все вообще, чем жива русская интеллигенция и русский народ, породивший ее, — что все это сгниет, если не будет к нему приставлен жандарм. Когда вы недавно писали о нации, когда вы писали о Великой России, — я, сознаюсь, думал, что вас одушевляет некая империалистская идея, что вы под нацией разумеете нечто более крупное, чем доподлинных потомков исконных жителей суздальского уезда. А оказывается на поверку, что другого мерила, кроме племенного, у вас нет, что вам, кроме дела — настоящего национального культурного дела — нужна для русского народа особая племенная загородь, да еще с вывеской. Именно племенная, ибо ничего другого вы не придумаете. И в ваших же примерах Брюллов побивается ведь «нерастворимым» евреем Левитаном... Впрочем, повторяю, я понимаю и склонен уважать и суздальский национализм, но именно потому спрашиваю: от кого вы его обороняете? Для чего вы торжественно собрались в бой с трубами и фанфарами? Зачем вы именно с нами связываете проповедь этого национализма?

Это грех против истины, и грех особенно тяжелый потому, что ваша ложная связь идей будет злостно использована во вред стороне слабейшей.

Искренно преданный вам М. Винавер

P. S.

Письмо это было уже написано, когда я прочитал вашу вторую статью в «Слове». Вы нашли уже ярлык для вашего настроения. Это не антисемитизм, а «асемитизм». И с такой же поспешностью, с какой вы раньше свидетельствовали за счет всего русского народа об «отталкиваниях», теперь за счет всех «еврейских сограждан» высказываете уверенность в огромной для них пользе именно от этого крылатого, но весьма... легковесного лозунга. Что есть асемитизм? Если это только правовой принцип, безразличие вопроса о национальности в области права, — то это пустопорожнее место, не более. Если же он должен внедриться во все области общежития, то как вы вообще мыслите такое общежитие, скроенное из асемитизма, аполонизма, аукрайнизма и, конечно, арусизма? Так ли вы ее представляете, как это рекомендуется г. Владимиром Ж., от которого вы, по-видимому, взяли самый «асемитизм». Послушайте, какие он вам рисует перспективы, — рисует, скажу я, совершенно последовательно: «В разных профессиональных сферах он (асемитизм) разно проявляется; в сфере литературно-художественной он принял бы форму такого рассуждения: я пишу свою драму для своих и имею право предпочитать, чтобы на сцене ее разыграли свои и критику писали свои. Этак мы лучше поймем друг друга». Предлагаю вам, с точки зрения этого деления на «своих» и «не своих» (а ведь деление — и притом грубое — придется и вам, в конце концов, установить), — предлагаю вам с этой точки зрения подойти к Левитану. Для сиониста Левитан есть парадокс, ненужная, досадная помеха, перекрашивающая утлую ладью государственно-культурной концепции сионизма. Но для нас, для огромной массы русского еврейства

и Левитан, и Антокольский есть живые воплощения здорового процесса, который мы желаем продолжать и укреплять не в холодной «асемитической» замкнутости и отчужденности, а в сфере согретого любовью (именно любовью), свободного взаимного культурного воздействия. И потому, Петр Бернардович, вам следовало бы еще призадуматься раньше, чем с такой решимостью говорить о пользе «асемитизма» для «еврейских сограждан» — и прибавлю от себя: и для русских сограждан.

В. Поссе

Современные думы. «Еврейское засилье»

В «чириковском инциденте» интересно не то, что в действительности сказал Е. Н. Чириков, а то, что *послышалось* литераторам еврейского происхождения. Им послышалось, что Чириков протестует против «еврейского засилья» в русской литературе. И послышалось потому, что им, как и большинству евреев, приходилось не раз *чувствовать* неприязненное отношение русских писателей к усиливающемуся влиянию евреев в русской печати.

Действительно, число лиц еврейского происхождения среди издателей, редакторов, заведующих отделами и просто сотрудников русских газет, журналов и других изданий очень велико.

Процентное отношение издателей и писателей еврейского происхождения к таковым же происхождения русского неизмеримо выше процентного отношения еврейского населения к населению русскому.

Это — факт, который не могут оспаривать ни русские, ни евреи.

Русским это неприятно, — и неприятно особенно в настоящее время, когда газет и журналов в России сравни-

тельно мало, когда книги идут плохо, когда «труженикам пера» тесно и среди них царит безработица.

Литератор, остающийся без заработка, невольно чувствует неприязнь к собратьям по профессии, сумевшим «устроиться» или «пристроиться». Так как евреев в русской печати вообще много, то не мало их и между «устроившимися». У безработного невольно пробуждается неприязненное чувство к особенностям семитской расы: ему кажется, что тот или другой писатель устроился не за свои заслуги, а благодаря своим еврейским особенностям.

Но неприязнь к еврейству закрадывается в душу не только безработных, но и устроившихся русских.

Надо помнить, что журнальная и газетная работа не столько объединяет, сколько разъединяет ее участников, так как их профессиональной болезнью является повышенное самолюбие. Сотруднику неприятно, когда его «черкает» редактор, и если «черкающий» редактор — еврей, а сотрудник — русский, то оскорбленное самолюбие легко принимает антисемитскую окраску.

Еще легче пробуждается антисемитизм на почве «гонорарных» недоразумений между евреями-издателями и русскими писателями. Наконец, и в еврее-критике, разносящем то или другое произведение, автор, оскорбленный за свое литературное детище, нет, нет, да и увидит «жида».

Таким образом на почве безработицы, денежных недоразумений, уязвленных самолюбий и проч. среди русских писателей создается антисемитское настроение.

Слагается целый обвинительный акт против евреев, участвующих в русской печати, слагается, но не опубликовывается.

Прежде всего евреев обвиняют в том, что они «тянут» друг друга, а русских «отстраняют». В этом есть доля правды. У евреев под влиянием гонений сильно развито чувство национальной солидарности.

Еврей охотнее поддержит еврея, чем русского. И это тем более, что ему при этом часто приходится поддерживать друга дет-

ства или «земляка». «Земляков» среди евреев больше, чем среди русских, главным образом благодаря «черте оседлости». Кроме того, и неприязнь со стороны русских, поляков и проч. невольно заставляет евреев крепче держаться друг друга.

Далее говорят, что евреи принижают достоинство литератора, слишком легко приспособляясь к требованиям «хозяев печати» и вообще легко «применяясь к подлости».

С другой стороны, тех же евреев упрекают в «высокомерии», принимающем форму «наглости» и «нахальства».

И здесь есть *небольшая* доля правды.

Печальная история еврейского народа способствовала развитию в худших его представителях как приспособляемости к подлости, так и родственной ей наглости. И, конечно, между евреями, участвующими в русской печати, есть не только лучшие, но и худшие представители великого и несчастного народа.

Указывают, наконец, что писатели еврейского происхождения портят русский язык, вносят в него «жаргонный стиль». Обвинение кажется правдоподобным.

Русский язык для еврейских журналистов редко бывает «языком материнским», поэтому им трудно проникнуться его духом, инстинктивно избегать несвойственных ему выражений.

Действительно, писатели еврейского происхождения нередко злоупотребляют выражением «пара», говоря не только «пара чаю», «пара сапог», но и «пара мыслей», «пара идей», нередко неправильно заменяют глагол «выйти» глаголом «выступить» и т. д. («выступить из партии»). Но в общем, по моим наблюдениям, писатели еврейского происхождения, как представители народа, способного к изучению языков, пишут не хуже средних русских литераторов. Портят русский язык те евреи, которые не призваны быть писателями, которые попали в литературу, потому что больше «некуда деваться».

Вся беда в том, что в русских газетах и журналах работает много евреев, которые могли бы быть хорошими чиновни-

ками, землемерами, агрономами и пр., но совершенно неспособны быть литераторами.

Но где причина этой беды», этого «зла»?

Причина в еврейском бесправии, причина в тех стеснениях, которые ставятся евреям на каждом шагу и на всех поприщах.

Будь евреи свободны в выборе местожительства и занятий, пользуйся они теми же правами, как и христиане, по отношению к государственной и общественной службе, поступлению в высшие учебные заведения и т. д., тогда и в литературу, и в революцию шло бы гораздо меньше худших евреев, а от этого выиграли бы лучшие, как евреи, так и русские.

Если русские литераторы недовольны «еврейским засильем», то им надо с удвоенной энергией бороться за еврейское равноправие.

Если русские люди, несмотря на бревно в своем глазу, так хорошо видят каждый сучок в глазу еврейском, то им необходимо усиленно бороться за устранение тех условий, которые воспитывают еврейские недостатки.

Евреи в России настолько стеснены, что им невозможно существовать без обходов закона, взяток и других приспособлений к подлости.

Особенно развращающе должна действовать премия за вероотступничество. Стоит еврею креститься, и он получает право свободного передвижения, свободных занятий, поступления на службу и пр. Мне при этом вспоминается рассказ об одном еврее, г. Т., который в «либеральный момент» царствования Александра II был назначен судебным следователем. Прошел либеральный момент, г. Т. оставался *единственным* в России судебным следователем, но несмотря на примерную службу не получал ни наград, ни повышения.

Прошло много лет. Министром юстиции сделался Манасеин, терпимо относившийся к евреям. Он пригласил к себе г. Т. и обещал ему повышение.

— Но для этого, — заметил министр, — вам придется креститься.

— Ваше превосходительство, — ответил еврей, — я не крещусь; у человека должно быть что-нибудь не продажное.

— В таком случае, — сказал министр, — я ничего не могу для вас сделать, но позвольте крепко пожать вашу руку в знак уважения.

Креститься еврею или еврейке приходится и для вступления в брак с христианами. Это очень затрудняет смешанные браки, между тем славянская раса только выиграла бы от примеси семитской крови. Путем браков лучше всего разрешился бы и весь еврейский вопрос.

Русским следовало бы запомнить слова еврея Т.: «у человека должно быть что-нибудь не продажное». И когда подумаешь, как много евреев противятся соблазну креститься, то невольно проникаешься уважением к этому несчастному народу.

Недостатки евреев бросаются в глаза, так как они связаны с неприятными внешними проявлениями. Достоинства евреев заметить труднее...

Но если еврейскому народу ставят на счет каждого фактора, считающего себя литератором, то пусть поставят ему в счет и Спинозу, Маркса, Гейне, Берне, Рубинштейна, Антокольского, Левитана...

И пусть не позабудут поставить на счет русского народа тех «истинно-русских людей», которые среди евреев нашли только одного деятеля, заслужившего их любовь и уважение. Этот деятель зовется Евно Азеф.

В заключение хотелось бы надеяться, что полемика, вызванная «чириковским инцидентом», укрепит союз между лучшими русскими и лучшими евреями для совместной борьбы с худшими элементами как еврейского, так и русского народа. Человечество разделяется на много народов, которые в конце концов сольются в общечеловеческий союз.

Но человечество разделяется и на два враждебных друг другу рода или вида.

Герои одного из них — Азефы и Пуришкевичи.

Герои другого — Спинозы и Толстые.

Между этими родами примирения быть не может. Один из них должен вымереть, исчезнуть.

Исчезнут Толстые — вырождение.

Исчезнут Азефы — возрождение.

В величии Толстых и ничтожестве Азефов черпаем мы радостную уверенность, что человечество идет вперед, к тому времени, когда у людей не будет ничего, ничего продажного.

В. Поссе

Национализм и социализм

Публицисты «России» получили, по-видимому, приказ разнести оппозиционных «националистов», пишущих в «Слове».

В своем усердии казенные публицисты стараются уязвить национализм социализмом.

«Давно ли, — пишут они, — те самые, которые теперь драпируются в тогу национализма, заявляли во всеуслышание, что они — «почти социалисты»? А ведь никто, надеемся, не рискнет утверждать, что национализм имеет хоть что-нибудь общее с основой мировоззрения социалистов».

Надо надеяться, что это «рискнет утверждать» прежде всего г. председатель совета министров, П. А. Столыпин, который, будучи в глазах «России» несомненным националистом, выступал в одной из своих думских речей сторонником государственного социализма. Г. председатель русского совета министров, наверное, не решится отрицать национализма и французского совета министров, который почти сплошь состоит из радикал-социалистов и просто социалистов.

Г. Столыпин, наверное, признает националистом и социалиста Мильерана, который задолго до него получил от Русского Царя орден Белого Орла.

Он, наверное, помнит и неоднократные заявления Бебеля в рейхстаге о готовности немецких социал-демократов с оружием в руках защищать каждую пядь своей немецкой земли.

Правда, социализм и национализм — слова, под которые подставляются чрезвычайно различные понятия, но огромное большинство социалистов никогда не станет противопоставлять своему мировоззрению национализм, как нечто с ним непримиримое. Разумеется, говоря о национализме, последовательные социалисты имеют в виду право каждой национальности на свободное пользование своим языком и вообще на свободное развитие национальной культуры, а не порабощение и поглощение одной национальности другой. Социалисты всегда подчеркивают, что они против всякого гнета, в том числе и гнета национального. Они — националисты в том смысле, что с уважением относятся к каждой национальности.

Наиболее последовательные из них без колебания подпишутся под следующими замечательными словами *националиста* Драгоманова: «Самое понятие об идеале человека составляется у людей из отвлечения лучших сторон индивидуумов, корпораций (как видов труда) и наций, а потому прогресс этого самого идеала вовсе не требует стирания всех разнообразностей человека, а напротив того, их постоянного развития».

Совершенно в духе Драгоманова составлена брюннская декларация русинских социал-демократов. «Мы, — говорится в этой декларации, — убеждены, что международное могущество пролетариата разовьется лишь тогда, когда *каждый народ будет вершителем своей истории*. Мы знаем, что социальное и политическое освобождение обусловливает и *национальную* эмансипацию. Поэтому русинские социал-демократы стремятся к *национальной* свободе всего народа» и т. д.

Разве это не национализм?

И разве не национализмом продиктована национальная программа всей австрийской социал-демократии? «Окончательное урегулирование вопроса о *национальностях* и языках

в Австрии является прежде всего культурным требованием, а потому лежит в жизненных интересах пролетариата»...

«Австрию следует превратить в демократическое союзное государство *национальностей*»... «Все самоуправляющиеся области одной и той же нации образуют вместе *национально* единый союз, заведующий своими *национальными* делами совершенно автономно» и т. д.

Подобный национализм существенно отличается от национализма хотя бы лорда Сольсбери, который называл себя «отчасти социалистом»; но так же существенно отличается и лордовский социализм от социализма пролетарского. Каков социализм, таков и национализм!

Но скорее можно сказать, что один социализм противоречит другому социализму, чем всякий социализм противоречит всякому национализму.

Изменение общественного строя в смысле наивысшего подъема производительных сил и создания для каждого возможности всесторонне развить свои способности и проявить их в разумном творчестве — такова, по моему мнению, цель истинного социализма. И для достижения этой цели необходимо признание права на свободное развитие за каждой национальностью. Можно, конечно, думать, что в конце концов при возрастающей дифференциации личных, индивидуальных особенностей исчезнут различия национальные; можно, конечно, желать, чтобы национальности слились в один человеческий род, состоящий из разнообразных индивидуумов. Но чтобы это было разнообразие красоты, а не уродства, необходимо добровольное, а не насильственное слияние свободных, а не порабощенных наций.

Для слияния многим национальностям придется, вероятно, размежеваться.

К достойному человечества интернационализму путь идет через достойный каждой нации национализм.

И. Жилкин

У старообрядцев

В Москве удалось мне поговорить с виднейшими представителями всероссийского старообрядчества. Определенно говорить о настроениях старообрядцев, конечно, трудно. Это — громада, и притом разбросанная по всей России, вкрапленная во все ткани крестьянской, мещанской и купеческой жизни. В таком смысле и начал разговор один из собеседников:

— Ведь это не партия, не группа. Это — народ. Старообрядцев по меньшей мере четыре миллиона в России. Вон Сербия собиралась воевать с Австрией. А ведь старообрядцев больше. Народ. Значит, всякие течения имеются — и правые, и левые, и средние.

Быт старообрядцев близко знаком мне с детства. Мне припомнились строгая замкнутость старообрядческой семьи, где по религиозным причинам чрезвычайно заботливо охраняется чистота русской крови. Национальное чувство должно быть здесь в первобытной свежести. А так как национальный вопрос выплывает теперь, чуть ли не опережая другие темы дня, то я с особым интересом спросил главаря старообрядчества:

— А что, старообрядцы не считают себя националистами?

Собеседник взглянул на меня с недоумением и даже как будто с некоторой обидой.

— Нет... мы... — сказал он с маленькой запинкой, — у нас никакой вражды к другим народностям не замечается. Мы за равноправие и свободное сожительство.

Очевидно, собеседник понял слово «национализм» в обычном, искривленном, опошленном смысле. Фатальное загрязнение неповинного понятия от рук союзников и других погромных националистов!..

— Национальным чувством, — поспешил я разъяснить, — называю я особую, теплую, живую любовь к своей нации, к своей родной крови. Без всякой вражды к инородцам или чужеземцам, предпочтение и невольное, естественное влечение к своим одноплеменникам.

— О, это! — просиял собеседник, — в таком смысле все старообрядцы националисты. Да иначе и быть не может. Вы ведь знаете, как совершаются у нас браки, как держится семья, как невольно старообрядцам приходилось жаться друг к другу.

Он подумал и мягко, вдумчиво, особым согретым тоном продолжал:

— Знаете, хорошо, конечно, что преследования старообрядцев заканчиваются. Но было от них не одно худо. Они сплачивали старообрядцев, заставляли их объединяться, давать отпор. Закалялось упорство, развивалась энергия. Охранялась чистота крови. И знаете, кого старообрядцы в этом отношении напоминают? Евреев. И тех, и других целые века преследовали, и те, и другие научились коллективно обороняться от жизни.

Ему, видимо, припомнился удачный пример. Помолчав, он, тепло улыбаясь, продолжал:

— В западных губерниях есть старообрядческие села, вкрапленные в чужую среду. Жители терпели долгие гонения от чиновников, полиции, духовенства, да отчасти и от насе-

ления. Поэтому жили они замкнуто, не роднились, не смешивались с окружающим пестрым населением, надеялись только на себя, на взаимную поддержку. И любопытно, какая вещь получилась. Смешанное, текучее население вокруг старообрядцев жалуется на евреев, на их юркость, пронырливость, на отбивание работы, то есть, правильнее говоря, жалуются, что евреи практичнее, энергичнее и находчивее их. Но со стороны старообрядцев никогда ни одной жалобы на евреев не было. Никаких неприятных качеств в евреях они не замечают. Да и понятно: они сами очень упорны, хозяйственны, очень держатся друг за друга. И живут старообрядцы, в сущности, очень зажиточно. И торговлю из их рук евреи не вырывают, и ремесла, и прочее. Да, — заключил он с маленькой самодовольной улыбкой, — и преследования свою пользу приносят. Евреям и старообрядцам не стоит этого забывать.

И мне показался его жизненный пример знаменательным. Национальных группировок сейчас боятся, как будто из них неизбежно вспыхнут погромные столкновения. Приятное наследство бюрократического строя: правительство так искусно делало национальную работу, что интеллигенция теперь не верит друг другу, не верит и естественным побуждениям здорового национального чувства, боясь таких же последствий, какие давал казенный национализм.

Но в простой, естественной жизни не выходит ли обратное? Не враждебно ли разрозненное, ослабевшее население тем иноплеменникам, которые, опираясь на свои национальные организации, успешно борются с житейскими невзгодами (в частности, евреи)?

Мой собеседник — главарь старообрядцев — именно эту мысль и подчеркивал, причем в словах его сквозило искреннее дружелюбие к евреям и другим инородцам. И явственно теплилось в его речи довольное любование стойкостью и самостоятельностью старообрядцев.

Алексей Порошин

Политические письма

Когда я читал, как г. Владимир Ж. подкалывал еврейским вопросом русскую интеллигенцию, я живо вспомнил этого милого и симпатичного человека, вспомнил обычную суровую рассудочность стратегических его соображений и не мог без внутренней усмешки, которую пусть он мне простит, разбирать его военные хитрости:

— Хочет стравить русскую и еврейскую интеллигенцию, чтобы евреи все писали в жаргоне, думали только о красоте Сиона и собирались в Палестину.

Не знаю, как у самого г. Владимира Ж. выходит жаргон, думаю, однако, что жаргон этот сильно испортили ему те красивые и певучие русские стихи, которые он писал когда-то.

Г. Чириков нашел себе сразу и защитника, и прокурора в г. Владимире Ж., который очень умно защитил г. Чирикова, чтобы им попрекнуть русскую интеллигенцию за молчание по еврейскому вопросу, когда по его мнению следовало говорить и говорить.

По словам Владимира Ж., если русская прогрессивная печать теперь не говорит часто о еврейском вопросе,

то это потому, что в сущности в душе-то она и сама едва ли не рада заминки с ним. Идеалы, Белинский, Толстой и пр. велят стыдиться антисемитизма, но душа-то все-таки русская — что против нее поделаешь! И г. Владимир Ж. тут же и прощает лукавице:

— Кто, в самом деле, совершенен на земле? Но все-таки пусть она признается — ну, не антисемитична она, но евреи все-таки ей тошны и она хотела бы быть без евреев!!!

Ах, дорогой прокурор. Отстаньте вы с этой докукой! Почему она вам кажется остроумной? Не до исповедей, — довольно допросов и кругом.

Вы-то и без других, конечно, отлично видите то, что ясно и явно стоит перед глазами всех.

Конечно, это только смешно, когда по поводу Чириковского эпизода г. Струве заявляет, что и русский народ имеет право на свое «национальное лицо».

Это открытие смешно и забавно напоминает прозрение г. Струве на Елагином острове, и октябристы, торжествуя, уже ведут г. Струве за нос в угол, приговаривая:

— А, признался теперь, наконец! Вот и В. Голубев заговорил о «великодержавной национальности русской». Недавно еще В. Голубев таким языком в «Товарище» не говорил! Теперь и вы переходите в нашу веру, теперь и вы согласны, что в освободительном движении евреи забрали силу, и если его, это освободительное движение, ликвидировали, то и правильно, ибо оно было еврейское. А национальное чувство только теперь в вас просыпается — благодаря нам!!!

«Национальное лицо», которое у себя нащупал г. Струве только в пику некоторым ораторам ходотовского вечера, конечно, забавно, но во всем этом Чириковском эпизоде есть и очень серьезная сторона, о которой теперь, на передышке освободительного движения, может быть и нелишне поговорить.

Это — вопрос такта в отношениях между русской и еврейской интеллигенцией.

Что последняя его частенько и с весьма напрасной власт-

ностью нарушала — отрицать это мудрено. Когда в разгар освободительного движения союзы и всякие организации пошли в ход, евреи чисто внешним образом так пестрили первый план, что дали реакции злорадную утеху все движение выставить «ненациональным», а то и прямо еврейским. Это ложь, но к этой лжи прибавилось и фактическое засилье реакции. Сила солому ломит, и если реакция не поставила своего «обвинения» серьезно, то все-таки наклеила его на забор для прочтения всем проходящим.

И вовсе не в том была причина этому «обвинению» освободительного движения в национальности, что среди деятелей революции было много евреев, вот реакция на них и озлилась. Нет, дело было в большом количестве маленьких и крупных бестактностей, резкостей и обострений всякого рода, которых тысячи были походя совершены маленькими и большими деятелями из евреев — в итоге к большому вреду освободительного движения и самих евреев.

Теперь, когда эти годы в прошлом, г. Владимир Ж., вероятно, согласится, что провести еврейский вопрос так полно, как он желал бы, у движения тогда реальных сил не было, и одно умножение разговоров об этом, конечно, сил этих не прибавило бы, а лишь бы помогло врагам общерусского движения, отрицателям его государственности.

По существу же своему это обвинение русской интеллигенции в замалчивании еврейского вопроса, конечно, неверно. Русские прогрессивные газеты чаще и ярче говорили в защиту евреев, чем газеты, ведомые еврейской интеллигенцией. Этого тоже г. Владимир Ж. отрицать не станет, конечно.

Что же — и еврейская интеллигенция асемитична?

Прибавлю тут же, — я и одной соломинки вины не кладу на евреев за неудачи русского движения. Это было бы лишь малодушием. Движение это было русское, шло оно из самых недр русской вольной души, и главная ответственность была за него на русских же, которые и благо-

волили бы лучше разобраться в своих шансах. Положение было само по себе исключительно трудное, и удачи можно было ждать только от случайностей: слишком все вылилось неожиданно и неорганизованно. Но кто-нибудь все же причинен в том, что русские зубры с таким наслаждением хлещут движение 1905–1906 гг., как «не национальное», «еврейское» и пр.?! Еврейской интеллигенции приходится принять на себя часть расходов за разбитые черепки. Пусть ей это будет уроком — не к молчанию и скрытности, а к более чуткому такту и к наблюдению за собой самой.

Если бы кто сказал обо мне, что я не желаю искренно полной свободы еврейскому народу в России, веря искренно же, что свободный русский народ мирно и к взаимной выгоде уживется с освобожденным еврейством, то, вероятно, и сам г. Владимир Ж. вступился бы за меня, — не мало часов провели мы с ним в разговорах на эту тему.

Но спрошу я Владимира Ж., — что же, это было тактично, когда в момент торжества реакции над освободительным движением, когда его заушали, как хотели, называя и грабежным, и изменническим, и разбойным, и огарочным и всяческим — было ли это тактично, что именно еврей-публицист выскочил и возопил, насколько хватило в груди крику:

— Но что же и за сволочь валит к нам из этого освободительного движения?!

Почему вышло так, что это сказал еврей?

История ничтожная, но очень видная. И если г. Владимир Ж. переберет только газетно-журнальные эпизоды последних наших лет, то не думаю, чтобы он признал много политического такта за перьями иных, именно еврейских публицистов.

— Хороши и ваши русачки, — может ответить он.

— Да, — соглашусь, — есть отменные! Но их и резонят ежедневно, да и разговор теперь о них.

Г. Чириков, конечно, был прав, когда оттолкнул от себя то, в чем увидел попытку стеснить его свободу суждения,

мнения, установить какое-то старшинство мнениям. Я рад, если этой попытки вовсе и не было, как утверждают объяснительные письма, но нисколько не сожалею, что вся эта история произошла и несколько провентилировала отношения между русской и еврейской интеллигенцией.

Я, помню, как-то говорил г. Владимиру Ж., что легенда о вечном жиде, о вечном странствии еврейства не мало принесла вреда евреям. Она приучала и приучила народы смотреть на евреев как на что-то «перекати поле», которое, если неприятно кому, то только стоит понажать... понадавить... смотришь — неприятный народ и откатился дальше. Он ведь привычен откатываться!.. И евреев понажимали, понадавливали, как кому нравилось.

В России, однако, евреи приросли прочно, и г. Владимир Ж. никогда их в Палестину из нее не уведет. И русским и евреям должно привыкать жить, как туземцам одной и той же земли, сыновьям одной и той же страны, — не бояться говорить друг о друге полную и прямую правду. Ведь неправда — это рабство. Никто его себе не захочет.

Homo Novus

22 несчастия

В газетном шуме вокруг евреев, «асемитизма», «национального лица» и пр. меня угнетает главным образом фигура г. Петра Струве. Г. Струве — это Епиходов из «Вишневого сада», «двадцать два несчастья». Среди более или менее неудачных представителей наших политических партий, делавших «освободительное движение», г. Струве — самый неудачный, самый злосчастный, наиболее непригодный. У него в политике нет вкуса, значит, и нет внутреннего такта. Он уныл, скучен, тосклив, что ни скажет — невпопад, что ни сделает — лоб себе расшибет. Я не могу забыть впечатления, которое я вынес, познакомившись в 1900 г. с его «Освобождением». Наслышан я был об этом журнале много, и естественно, что, попав за границу (это было в Вене), я бросился по книжным магазинам искать журнал. Дня три бесплодно пропутешествовал по улицам, даже комиссионеру, помнится, что-то посулил за «Освобождение». Наконец совершенно случайно на Грабене увидел в окне книжного магазина тетрадку «Освобождения» в кирпичной обложке. И обрадовался же я! Тетрадок пять купил сразу, и лихорадочно тут же на улице стал их пробегать... Помню,

как мне хотелось — чтобы это было умно, талантливо, убедительно, неопровержимо... И я внушал себе, что это так, и в то же время какой-то внутренний голос угрызал меня и твердил: «нет, это плохо, слабо, совсем не так!» Политическое сочувствие к идеям «Освобождения» беспощадно боролись с пониманием и чутьем профессионального журналиста, которому не могли не броситься в глаза бледность формы, отсутствие темперамента, а подчас и такта. Я хотел увлечься «Освобождением», и не мог. Несмотря на красноватую обложку, тут была бледная немочь, какая-то, по Вейнингеру, слабосильная женственность, трусость мысли и характера. Так и чувствовался добродетельный и не очень быстрый доцент, которому надлежит носить егеревскую сосновую фуфайку, писать скучные и никому не нужные книги и плодить, как «в добрых пасторских семействах», по выражению Зудермана, кучу ребятишек. Во всем складе его писаний не было ни капли артистичности и озарения, которые сближают молниеносные мысли журналиста с художеством, а последнее с политикой. Я еще не считал г. Струве тогда Епиходовым — он мне казался скорее чем-то вроде бездарного барона Тузенбаха из «Трех сестер», про которого пьяница Чебутыкин говорит: «барон — хороший человек, но одним бароном больше, одним бароном меньше — не все ли равно?»

Но вот стряслись октябрьские дни, и г. Струве вернулся в Россию. Как ни как, на нем был «ореол», и это погубило его. Его позвал гр. Витте, и он с ним имел продолжительную беседу. Подробности этой беседы неизвестны, но психология — ясна. Граф Витте знал «секрет, как спасти Россию», но, к сожалению, его не обнаружил. Г. Струве такого секрета не знал, но у него немножко закружилась голова, и ему серьезно, вероятно, казалось, что в революционном пожаре, который занялся над Россией, ему, как поджигателю, принадлежала выдающаяся роль и что поэтому, хотя еще не зная как, он обязан «спасти Россию». Будучи в своем «Освобождении» бароном Тузенбахом, он вообразил себя

Прометеем. Ему казалось, что он вызвал «грозные тени», и метался, не зная, как их прогнать. И с тех пор в его душе сидит благонамеренный заяц, и он ищет — трусливо и беспомощно— кому и чему бы ударить челом, и стукается лбом обо что попало, набив себе с дюжину шишек. Но все ему мало. Замолил ли грех? Искупил ли кирпичную обложку? Похоже ли на то, что искренно раскаялся?

Я не хочу сказать, что заячья благонамеренность г. Струве проистекает из каких-нибудь своекорыстных, эгоистических мотивов. Душа его чиста, но он жертва некоторой «аберрации». Он полагает, что вызвал Ахерон и что на его обязанности лежит вернуть мир измученной родине. Вероятно, когда умный гр. Витте с ним впервые разговаривал по возвращении его в Россию, он так и начал:

— Вы сделали революцию — помогите же прекратить ее...

Не считая себя Тузенбахом, которому судьба послала, во времена Плеве и Сипягина, редактировать свободное русское слово, но Робеспьером, и будучи в сущности зайцем, г. Струве искренно ужаснулся «бездны своей скверны». И вот как случилось, что г. Струве стал Епиходовым, именуемым «двадцать два несчастья». Он летит по первому зову, а то и без зова, кубарем, через горы, долы и реки, прямо к волку, и, не попадая от заячьей доброты и благонамеренности зуб на зуб, кричит во весь заячий дух:

— Остановитесь, дяденька!.. Вот — я... Может быть, вы — ха-ха — помилуете...

Не помилует — ха-ха — за знаменитую формулу «революция кончилась», помилует — ха-ха — за Елагин, помилует — ха-ха — за евреев... Ибо на его, Струве, ответственности лежит придумать формулу, которая бы дала мир и успокоение. Разве не он, Струве, раздул пожар?

— Помилуй, господи! Помилуй...

Вот — кажется ему, — он еще одну уступочку сделает, немножко либерального багажа выбросит, и тут уже все недоразумения кончатся! Дяденька его — ха-ха — помилует, потому что убедится в чистоте его намерений, а за старое,

что же казнить? Так он постепенно выбросил революцию, которая «окончилась», социализм, который несбыточен и утопичен, аграрную реформу...

— Хороший вы заяц, Петр Бернардович! Очень хороший... Я, может быть, вас — ха-ха — и помилую... Старайтесь, во всяком случае.

И, преисполненный благодарности, г. Струве выходит из-за куста и говорит:

— Какую я еще, дяденька, штуку придумал...

— Ну, какую?

— А такую, что ежели, например, пойти на Царьград заместо внутренних реформ... Ведь уж за это, дяденька, беспременно следует помиловать...

Дело это происходило еще до «аннексии», и потому дяденька сказал:

— Шутка — ничего... Там, что дальше — видно будет. А покамест старайтесь... Может быть — ха-ха — и помилую...

Так шли дни за днями. И вот в одну бессонную ночь в душе благонамеренного зайца созрело решение. Он выступил уверенно и торжественно из-за куста и заявил:

— Дяденька! Какая ваша крайняя цена будет? Ежели вы — ха-ха — помилуете, то какая крайняя цена?

Дяденька смотрел на благонамеренного зайца хитрыми улыбающимися глазами и молчал.

— Я, дяденька, вот что скажу... Жидов желаете? Предаю-с... Полностью, дяденька, получайте...

— Ну? Вот это хорошо, заяц! Давно пора... Царьград — он далеко-то... Опять же воевать нам никак невозможно. А жидов — это здорово! Молодец, заяц!..

— Я, дяденька, завсегда готов... Так, стало быть, помилуете?

— А это мы — ха-ха — подумаем. Ну, а за жидов спасибо!..

И придется г. Струве вновь сидеть за кустом и дрожать, и ждать, когда его — ха-ха — помилуют. Что еще, какие дальнейшие жертвы придется ему принести? Да и осталось ли

что приносить? Вот он весь, с облезлой и слинявшей шкурой, с подведенным животом и торчащими ребрами, близкий к естественной смерти от полнейшего истощения благонамеренностью, которой его несет, как холерой...

Я здесь совсем не намерен говорить об еврейском вопросе. Если бы я был метафизиком, я бы вообще сказал, что его an und fur sich не существует, а что существует народ, вот как бы в палате мер и весов идеальная мера, назначение которого (и в этом его «мессианизм») испытывать терпение и служить пробным камнем культуры, справедливости и человечности. Ну, вдруг бы не было евреев — подумайте! Как можно было бы, по одному признаку, ясно и определенно судить о степени освобождения человека! Впрочем, тогда евреев, конечно, выдумали бы...

«Филосемитизм» в русской литературе, процветавший с такой силой в последние годы, само собою разумеется, не был конкретным филосемитизмом, как наивно предполагает благонамеренный заяц г. Струве. Это был филосемитизм символический, пользовавшийся евреями для своих целей освобождения человека совершенно так же, как антисемитизмом пользовались и пользуются все те, кто стремится к затемнению сознания, к укреплению существующего порядка вещей, к закабалению человека. Нужна одна большая, яркая, выпуклая несправедливость; нужно одно образцовое, убедительное неравенство, — остальное приложится. Разве дрейфусовское дело не отодвинуло республиканские реформы почти на 10 лет? И разве не гипнозом антисемитизма держалось идейное безвременье последнего 25-летия?

Струя «филосемитизма» была работой русской интеллигенции над самоочищением, над оздоровлением общественной атмосферы — это было русское дело прежде всего, потому что антисемитизм лежит как огромное бревно на всех путях государственного и национального развития, потому что в антисемитизме националистическая кичливость получает самый дешевый и питательный корм, пото-

му что все формы протекционизма и фаворитизма находят здесь свой основной исток, свое логическое оправдание, свой разум.

Разрушить легенду антисемитизма стало задачей русской литературы и нарождавшейся русской общественности, и нужно быть действительно Епиходовым, живым олицетворением «22 несчастий», чтобы не понять этого...

Дело идет, действительно, не о любви. Любовь — это мистика. Дело идет о глубокой занозе в собственном теле, которую необходимо извлечь. Если не ошибаюсь, в 1882 г. в «Отечественных Записках», во «Внутреннем Обозрении», которое вел Елисеев, появилась статья, где говорилось совершенно то же, что проповедует Петр Бернардович Епиходов. Елисеев называет это иначе. Он говорил об «идиосинкразии» русского народа к евреям. Статья произвела впечатление настоящего скандала. В следующей книжке появилось наивное редакционное объяснение, будто-де выпали кавычки, и слова эти — не сотрудника «Отечественных Записок», а некоторого его собеседника. И рядом с этим объяснением была напечатана сатира Щедрина о еврейском «шашу» и деруновском «сосу», сводившая на нет елисеевскую «идиосинкразию». Двадцать семь лет прошло с тех пор, но Епиходов ничему не научился и ничего не позабыл!.. В самом деле, «идиосинкразия», «отталкивание» — что это такое? Деликатная перелицовка формулы: «чего моя нога захочет». Возведение в принцип темных, отвратительных пережитков, капризов; освященное самодурство, посрамленная справедливость. «Отталкиваю», потому что желательно оттолкнуть. Но разве это резон? Мало ли темных желаний копошится на дне души! В тайниках наших и зверь сидит, виляющий хвостом. Но наша задача — так по крайней мере всегда понималось — в том и состоит, чтобы бороться с мрачными тенями неизбывной бестиальности, по Епиходову же — Струве — выходит, что если Никита Чиликин привык правой ногой в избу ступать, так это и хорошо: пусть стоит у порога и куражится над чадами

и домочадцами...

Все это более чем глупо. 22 несчастья г. Струве заключается в том, что он всегда приходит слишком поздно, просит за Думу, когда она уже распущена, и твердит об «отталкивании» от евреев, когда они уже вспухли от погромов. Он служит молебен при встрече с покойником и панихиду у колыбели новорожденного. Правда, при этом он себе набивает шишку, но от этого никому не легче. У г. Струве в молоке всегда таракан, стул под ним проваливается, и когда он отправляется на охоту, то как герцог Лоран:

— Savez-vouz qu'est ce due j'attrape? Un rhume au cerveau!

Стоило нашему Епиходову начать хлопоты о «национальном самоутверждении» и позвать интеллигенцию в Царьград — как Балканский полуостров скушала Германия, протянув свой длинный слоновий хобот — Австрию... И надо же было случиться, что признание аннексии Боснии и Герцеговины совпало как раз с новыми «выступлениями» нашего знаменитого Епиходова по вопросу о «национальном самоутверждении»... Самоутвердились, нечего сказать!..

Подлинно — 22 несчастья!

[А.] Рославлев

Мысли

Я где-то читал про такой случай: дети играли в куче мусора, нашли какой-то круглый металлический предмет, стали ковырять его и проч. Предмет оказался бомбой. Впечатление такого «случая» производит инцидент между Чириковым и Шоломом-Ашем, где была такая же детская забава над мусором и где также подвернулся «предмет», который стали ковырять с детской наивностью и доковырялись до взрыва. Кто бы мог подумать, что скромный ужин у Ходотова завершится пушечной пальбой по всему фронту нашей публицистики, что он разожжет страсти, с таким трудом умиротворенные, вызовет из могил тени прошлого, рассорит вчерашних друзей, заставит говорить тех, кто привык молчать, и молчать тех, кто привык говорить, поколебать партийные устои, поколебать даже устои государственные?.. Я не шучу, господа. Посмотрите, куда заманила нас чириковская Мария Ивановна — гораздо дальше, чем в Севастополь и Ялту, куда она сама была завлечена страстью к сцене. В домашнем быту Марии Ивановны произошла драма, близкая к той, что творится теперь в русском обществе: приехал актер, устроил любительский

спектакль, Мария Ивановна сыграла, заразившись страстью к сцене, начхала на мужа и семью и собралась к актеру в Ялту. Роль актера у нас сыграла «конституция». Она дала нам возможность сыграть в любительском спектакле, уверовать в свои силы и устремиться в пространство за яркой мечтой, порвав с серой действительностью. Но, как и Мария Ивановна, в последнюю минуту мы раздумали и в Ялту не поехали. Мы остались «дома», — мы стали тянуть старую лямку, брюзжа и вымещая наше разочарование на домашних. К числу этих домашних относятся и евреи. Неудавшаяся экскурсия в Ялту заставляет нас ворошить еврейский вопрос. Бомба, которую расковыряли наивные пальцы схватившихся драматургов, еще никого не убила, хотя многих ранила. Но, если и впредь дети будут так шалить, если мы не приберем нашего мусора и не отделим от него таких предметов, как начиненные бомбы, может случиться и хуже...

К числу раненных бомбой еврейского вопроса пока следует причислить гг. Струве, Голубева и Владимира Ж. Эти господа, весьма причастные к освободительному движению и впоследствии разочаровавшиеся в нем, ищут, как известно, новых путей в политике. Не так давно г. Струве, наткнувшись на идею государственности, воскликнул «эврика!» и устремился вслед за этой путеводной звездой. Я не следил до конца за интересным спором между апологетами государственности и апологетами гражданственности, но, думаю, вряд ли г. Струве удалось одержать победу. Вопрос, как и большинство других, повис в воздухе полурешенным, а г. Струве умолк, прислушиваясь, по-видимому, к дальнейшим фазисам творящейся в нем эволюции. Она не шуточна, эта эволюция русской души, если судить по последним выступлениям экс-издателя «Освобождения». В противовес лику человеческому, которому усердно служил и молился г. Струве в прошлом, он открыл теперь лик «национальный», которому намерен посвятить свои силы в будущем. Этим национальным ликом или «лицом»

должны повернуться русские к евреям, полякам, немцам и иным народностям; в свою очередь и этим народностям разрешается облечься в лик, сиречь повернуться к русским соответствующим «лицом». Таким образом, под сводом неогосударственности, порабощающей старую гражданственность, имеет расцвести неонационализм, ведущий через «отталкивание» к «притяжению». Г. Струве предлагает упразднить национализм всероссийский, национализм государственный, раздробив его на национализмы (фанатизмы?) расовые. Раздробив целое на части, он полагает, что части получат новую жизненность, новую опору, и оттого выиграет целое. Теория эта может казаться остроумной, но она не нова. Не так давно ей посвятил ряд статей г. Меньшиков, и статьи эти, следует признать, были много убедительнее статей г. Струве. Теория раздробления на части целого, ради придания этим частям большей силы, жизненности, вообще не нова: она заимствована, кажется, из химии. Быть может, и впрямь расовое самоопределение выиграет от раздробления национального чувства. Быть может, евреям станет легче жить, когда русские обратятся к ним своим «национальным лицом», а евреи к русским — своим. Но как поставить эту метаморфозу в связь с идеей государственности, которая, по теории г. Струве, должна поглотить гражданственность? Под сводами такой государственности столпились люди, одетые в одинаковые, соответствующие стилю обстановки, одежды. Теперь предполагается дать им разное одеяние, соответствующее не обстановке, а личным вкусам и призваниям. Таким образом, сверху — всех объединяющая и равняющая государственность, а внутри — всех равняющая и отталкивающая национальность... Теория, понятно, все терпит, но жизнь слагается практикой...

Практика всемирная, а не исключительно-русская, указала, что у евреев имеется лицо «расовое», а не национальное и что это однообразное расовое лицо вовсе не мешает им разнообразно национализироваться. Английские ев-

реи национализированы англичанами, французские — французами, польские — поляками, испанские — испанцами и даже, частью, русские — русскими. У еврейской расы, не имеющей отечества, выработалась особая легкость к национальному самоопределению. Так люди, лишенные от рождения зрения, развивают в себе осязание. Не проникаясь любовью к отечеству, евреи пронизываются зато симпатией к национальности: русский еврей, особенно за границей, часто более насыщен русским национализмом, чем великоросс.

На мой взгляд, ничего нет легче, как национализировать евреев: стоит им лишь предоставить равноправие. Другой вопрос, какими экономическими последствиями отразится на русских эта мера. Но мы говорим об этике, а не экономике. С точки зрения этики я нахожу теорию г. Струве неприемлемой уже потому, что у евреев нет и не может быть своего собственного, еврейского национального лика, а есть только расовый (семитский). Нельзя поэтому предложить евреям облечься в личину, которой у них нет. Что же касается лика расового, то углубление черт его, в интересах государственных, следует признать крайне вредным. Идея государства, как мне кажется, заключается в том, чтобы сгладить расовую рознь единством национальным. Эта идея дала пышный рост великим империям древности. Поэтому еврейский вопрос разрешится, кажется, не раздроблением общерусского «национального лица» на его составные части, а торжеством этого коллективного лика над раздробленным ликом расовым.

Вас. Голубев

О монополии на патриотизм

Полемика по национальному вопросу, по-видимому, все более и более разгорается. И это хорошо. Национальный вопрос для России в *данный* момент упадка общественного настроения является одним из тех, правильное выяснение которых и даже самая постановка, несомненно, могут лучше, чем какой-либо другой из крупных политико-моральных вопросов, содействовать подъему общественного духа и политической мысли, ушедшей в последнее время от политики в эстетику. Но, чтобы этот вопрос правильно обсуждался, необходимо, нам кажется, самым решительным образом устранить argumenta ad hominem. А этого рода аргументов так много, в особенности в «Нашей Газете», что за ними суть дела совершенно исчезает. К чему все эти жалкие слова о покаянии, обо мне и о г. Струве, как бывших освобожденцах, к чему эти указания на все семь смертных буржуазных грехов, в которых повинны мы как представители какой-то выдуманной «Нашей Газетой» «новой интеллигенции». Грехи грехами. О них в свое время была уже речь, будет и впереди. А теперь вопрос идет о национализме и патриотизме. Еще более странными кажутся

нам аргументы и «Нашей Газеты» и «Речи» в смысле якобы сочувствия нам со стороны «Нового Времени», «Русского Знамени» и пр., и пр. Пишущего эти строки «Новое Время» иной раз со своеобразным сочувствием цитировало даже и тогда, когда он принимал самое близкое участие в «Нашей Жизни» и «Товарище». Случалось ведь, что «Новое Время» сочувственно цитировало и других сотрудников из того же «Товарища». Разве это что-нибудь доказывает? Разве это аргумент по существу? А насчет покаяний и самокритики — разве та же «Наша Жизнь» и «Товарищ» мало подвергались нападкам со стороны настоящих ортодоксов?

Думается мне, что все эти argumenta ad hominem мало способствуют выяснению сущности вопроса.

Постараюсь ответить по существу на два «пункта», выдвинутых против меня: во-первых, о монополизировании патриотизма правыми элементами, а во-вторых, — по вопросу о державности русской национальности. Отвечу пока на первый пункт.

На мои замечания о том, что по вопросу о монополизации патриотизма реакционными группами нельзя отделываться пренебрежительным кивком, «Наша Газета» спрашивает: «что же, он хочет конкурировать с ними на почве *их* патриотизма? Точно мы не знаем, что всюду, во всех странах господствующие партии спекулируют “патриотизмом” Дубровиных и Пуришкевичей и точно демократия не противопоставляет им с полным правом *свой* “патриотизм”»! Да, вот именно не противопоставляет. В этом все и дело. О необходимости этого противопоставления я и говорю. Да! С реакционным патриотизмом нужно конкурировать народным патриотизмом.

Ни во время русско-японской войны, ни тем более тотчас после нее, мы, в особенности интеллигенция, национальной идеи и патриотизма в высоком смысле этого слова не противопоставляли с достаточной силой «патриотизму» бюрократическому и реакционному. В своем отрицательном отношении к черносотенному патриотизму мы

так и застыли, а если противопоставили ему что, так не патриотизм, а общечеловеческие идеалы, как это было, например, в среде социалистических партий тотчас после 17 октября. И даже тогда, когда собралась уже первая Гос. Дума и когда уже наступал творческий период, переход к самоустроению народа, а критика должна была отступить перед положительными задачами, патриотизм все-таки понимался нами не иначе, как только в кавычках. Вопросы о достойной ликвидации позорной войны, вопросы о суде над всем, что привело к этой войне и что происходило в ней, если и поднимались тогда, то только случайно. Первая Дума именно их должна была бы поставить на первую же очередь, а вышло так, что инициативу ликвидации войны и суда над некоторыми ее героями взяла на себя бюрократия. Общей же идеи о восстановлении нашей национальной силы в глазах хотя бы той же Европы, которая не отделяет и не может отделить народ от бюрократии, мы не поднимаем и до сих пор, или поднимаем слабо, отводя этого рода вопросам третьестепенное место.

Не шутка и опозорение самого слова «русский», превращенного в «истинно-русский». Я слышал, как после речи г. Дурново в Государственном Совете «о среднем» русском человеке, якобы оправдывающем смертные казни, один несомненно прогрессивный русский интеллигент хотел ввести в обиход и «среднего русского» человека с таким же смыслом, какой придан уже «истинно-русскому» человеку. Без сомнения, все это слова. Но слова прививаются и становятся понятиями. Захват монополии патриотизма — правыми группами — это одна из весьма и весьма тягостных ошибок, допущенных прогрессивной частью нашего общества. Без сомнения, например, Влад. Соловьеву в его время не нужно было противопоставлять своего национального русского патриотизма зоологическому национализму реакционеров или узко-государственному патриотизму Страхова, Данилевского, противопоставляющих Россию Европе. В глубоком патриотизме Влад. Соловьева сомнений

быть не могло. В то время, когда он писал, существованию России ничто не могло угрожать, и Влад. Соловьев смело мог говорить только о «нравственных недугах» России, оставляя в стороне «физические». Но и у него русский патриотизм сквозил из каждой строчки, когда он говорил не просто о существовании, а о достойном существовании России. Мы же находимся в более тяжелых условиях даже и для существования России, мы болеем теперь не только нравственным, но и физическим недугом, а потому задачей нашего патриотизма является соединение в себе достойного существования России просто с ее существованием.

Нельзя забывать настоящего момента, который мы сейчас переживаем в отношении международных осложнений и нашего положения среди других держав. Постановка вопроса о нашем патриотизме и национальной идее теперь, когда крикливый шовинистический патриотизм правых и бюрократии прячется в кусты, как раз является своевременной. И «Слово» было чуть ли не единственной газетой, указавшей на антинациональный тон речи г. Гучкова, когда он заявил в Думе о нашей слабости. Мы сказали тогда, что г. Гучков забыл о существовании русского народа.

Дело не в еврейском вопросе, с которого началась вся эта полемика. Дело в более широком национальном вопросе, в подъеме национального русского чувства как основы единства России. И потому изъятие патриотизма из реакционного лагеря в прогрессивный теперь является задачей времени, лозунгом не в сторону поддержки реакции, а в сторону ее понижения.

А. Максимов

Чем дальше в лес, тем больше дров

Полемика о национализме продолжается, но нельзя сказать, чтобы статьи П. Б. Струве и В. С. Голубева, выступивших в «Слове» с горячей защитой национализма, много способствовали уяснению данного вопроса в умах читателей. Обвиняя своих оппонентов в уклончивости, в нежелании давать прямые ответы, они сами именно этой болезнью и страдают; в их построениях очень много недосказанного и неясного; о многом приходится догадываться лишь путем сопоставления отдельных фраз, и в конце концов не вполне ясно даже, в какой плоскости создают гг. Струве и Голубев свои построения. С первого взгляда может показаться, что вся их проповедь — невинные упражнения на чисто литературные темы. Г. Струве заявляет, что он любит Левитана как «русского» художника, что если и есть великие еврейские художники, то они в его душе «не шевелят и не могут шевелить ничего такого, что в ней поднимает Левитан», но тут же прибавляет, что национальное чувство, «духовные притяжения и отталкивания» не должны вторгаться «в холодные и бесстрастные веления закона», что «решение национальных вопросов может быть ос-

новано лишь на моральных и политических принципах и не должно зависеть от чувств». Г. Голубев тоже первоначально предполагает трактовать национальный вопрос «со стороны чувств и настроений», противопоставляя такую постановку вопроса его политическому разрешению. При такой постановке вопроса у читателя могло, однако, возникнуть недоумение, какое ему дело до художественных вкусов и до интимных притяжений и отталкиваний г. Струве. Наличности таких притяжений и отталкиваний (и не только, конечно, национальных) никто никогда не отрицал, но тот факт, что какой-нибудь Северянин не согласится променять свою хмурую родину на яркое небо Италии, может представить публицистический интерес только в том случае, если из этого факта можно сделать какие-нибудь выводы. И действительно, мы очень скоро убеждаемся, что не в Левитанах и не в естественных до зоологичности притяжениях и отталкиваниях тут дело.

Уже в первой статье, подчеркивая, что национальное чувство не должно вторгаться «в холодные и бесстрастные веления закона», г. Струве тем не менее очень сильно осуждает российскую социал-демократическую партию за то, что она назвала себя «российской», а не «русской». Как умный человек, г. Струве не стал бы придираться к словам, если бы за словами не предполагал вполне определенного содержания, и потому упрек с.-д. уже является мостом, который должен перенести нас из области зоологии и эстетики в область политики. Во второй статье, написанной спустя несколько дней, г. Струве идет уже гораздо дальше. Здесь он категорически заявляет, что «разумное решение вопросов права угашением национального чувства не только не облегчается, а, наоборот, затрудняется»; тут он говорит о полной законности «сильных, подчас бурных» чувств, прикрепляющихся к национальным вопросам и являющихся «выражением сознания своей национальной личности». Иными словами — «холодные и бесстрастные веления закона» уже отданы здесь во власть чувств, да притом

еще бурных, а все красноречивые выступления о Левитане оказываются не более чем риторическим украшением. Выразив полную готовность строить уже политическую программу на националистических основах, г. Струве предпочитает, однако, не договаривать о дальнейшем, то есть не вскрывать определеннее содержание такой программы. Об этом читателю приходится или догадываться путем метода исключений, исходя из невозможности наполнить националистическую программу каким-либо содержанием, иным, чем вкладываемое в нее «Новым Временем», либо основываться на таких отдельных выражениях, как признание готовности реабилитировать даже «бурные» чувства, прикрепляемые к национальному вопросу. Конечно, и тот и другой метод достаточно ненадежен, но при расплывчатости построений г. Струве ему придется винить самого себя, если читатели поставят его в близкое соседство с такими группами, от которых он готов отшатнуться.

Менее осторожный и более простодушный г. Голубев отличается в своих построениях большей прямолинейностью. Он все время говорит о «державной» русской национальности, печалится, что эта «державная» национальность остается «в униженном виде», говорит о необходимости поднять «русскую национальность как державную». Как видим, здесь уже не только положен мост, но и совершился полный переход в область политики, причем политики достаточно определенной. Какие тут Левитаны, когда речь идет о поднятии русской национальности как *державной*. Понятие «державности» более или менее ясно, и очень трудно согласовать задачу поднятия русской национальности как державной с признанием принципа правового равенства национальностей, устанавливаемого г. Струве. Есть у Голубева и еще одна фраза, которая может быть истолкована в еще более определенном смысле; это — заявление о том, что он считает национальный вопрос с политической стороны «в главных чертах решенным». Сопоставление этого заявления с приведенной выше формулировкой положи-

тельной задачи рисует вполне определенную программу. Если с политической стороны национальный вопрос решен в главных чертах, то все притязания поляков, евреев и других инородцев на гражданское равенство и признание прав их языка не имеет под собой почвы; вместо этого надо поднимать русскую национальность и поднимать ее как державную. Ну, чем не нововременная программа?

Мы помним, что писали до сих пор гг. Струве и Голубев, и потому нам трудно допустить мысль о сознательном повороте их в сторону узкого и неизбежно реакционного шовинизма. Охотно готовы поэтому заранее признать возможность ошибки со своей стороны и неправильного понимания их мыслей. Но пусть они спокойно перечтут свои статьи и посмотрят, какие практические выводы из этих статей можно сделать. Ведь недаром же и «Новое Время», и «Россия» выразили им свое полное сочувствие. «Новое Время» по поводу статьи г. Голубева заявляет, что «это такая справедливая программа, что под нею подпишется и антисемитическое изуверство», а «Россия» видит в проповеди г. Струве противопоставление русского национализма «еврейскому засилью» и очень его за это одобряет.

Г. Струве, возражая своим оппонентам, категорически отвергает ссылку на «проекцию», какую его слова могут дать «в живой действительности», считая подобную ссылку не аргументом по существу, а полемическим приемом. Но разве публицист может игнорировать то, каким образом его слова будут поняты его читателями? Ведь пишет он для этих читателей, и потому ссылка на возможность извращенного понимания известных мыслей никак не может быть названа простым полемическим приемом. Она прежде всего обязывает к пересмотру своих построений и к более точной их формулировке, а если все-таки и этим способом нельзя избежать грубых недоразумений и резких непониманий, это значит, что есть что-то в общественной атмосфере, мешающее трезвому обсуждению данных вопросов.

Во всяком случае, за гг. Струве и Голубевым остается долг перед публикой: раз они начали говорить, надо уж высказываться более понятным языком, который не оставлял бы места всевозможным недоразумениям.

Е. К.

Национализм и патриотизм

Пестрые картины российского калейдоскопа продолжают мелькать перед сонными глазами русского обывателя. Неделя об Азефе сменилась неделей о кадетском министерстве; неделя антипольского выступления г. Щегловитова сменилась неделей национально-русского, или антиеврейского, как окрестила его правая печать, выступления части русской интеллигенции. Эта последняя неделя оказалась особенно «жаркой». В пылу полемики людям, конечно, не до нежностей; но та линия резкостей, которая разделила два спорящих лагеря, линия, слишком уж, пожалуй, страстная в нашем сонном царстве, показывает, каких больных вопросов современности кто-то неосторожно коснулся.

Именно неосторожно. Сначала какие-то мало воспитанные писатели потащили в печать частный инцидент, место которому самое большое в частном же третейском суде, а уж никак не в печати. От этого неосторожного шага, как выразился один публицист, «взорвалась бомба». Осколки бомбы полетели в разные стороны, одних задели, а других и серьезно ранили... Кто именно оказался серьезно ра-

неным, — не трудно догадаться, но сейчас мы не об этом хотим говорить. Мы хотим коснуться существа вопроса, поскольку это существо может быть сколько-нибудь полно выяснено в газетных статьях.

Существо вопроса — как оно выяснилось в споре — состоит в том, что русской интеллигенции брошено обвинение в ненациональности, в отсутствии и у нее «национального лица». К этому обвинению привязана теория «неонационализма», необходимости свободно проявлять свои кровные черты (расовые или культурные?), хотя бы эти черты проявлялись в чувстве «отталкивания» от других национальностей. С другой стороны, заявляется, что несчастье России в том, что патриотизм, национальное чувство, экспроприирован правыми лагерями, а у левых лагерей его нет. Надо выдумать «левый патриотизм», надо противопоставить патриотизму реакционному патриотизм прогрессивный. В этом последнем лозунге, собственно, пока все существо вопроса. Есть или нет у нас прогрессивного патриотизма? Нет, — отвечают новые националисты. Есть, — ответим мы и подкрепим это не простым утверждением, а исторической справкой.

В чем может заключаться прогрессивный патриотизм? В укреплении *единой народной* России, в росте *народной* культуры, в создании такой общей государственной крыши, под которой могли бы свободно развиваться и *самоопределяться* все исторически связанные с этой единой Россией народности (национальности). Только такая народная, свободная Россия может завоевать престиж и в международной своей позиции. Все, что вне этой программы, — все это антипатриотично или, вернее, ложнопатриотично. И не странно ли, что именно эту программу утвердил внезапно проснувшийся национальный *народный* инстинкт? В самом деле: ни годы страшнейшего голода, когда крестьяне умирали от цинги и тифа, ни самые жесткие формы эксплуатации рабочего, ни политический гнет, сковывавший всякое проявление самодеятель-

ности, ни, наконец, широкая, страстная и бесстрашная, всюду проникающая пропаганда революционеров не могли ни *поднять* русский народ, ни *слить* его в едином движении. Народ забитый, народ униженный *внутри* России, молча сносил все невзгоды своего существования. Он молчал, он изредка подергивался судорогами, но он не мог найти единой *национальной* идеи, которая определила бы линию его борьбы.

Но вот случилось историческое событие. Народ русский, терпеливый внутри, оказался *бессилен* вовне. Его национальная мощь оказалась дутой. Злорадный хохот других стран над бессилием русского колосса смертельно оскорбил разбитое *национальное лицо*.

И оно выступило...

Именно национальное, а не революционное лицо показала русская революция. Эта связь русско-японской войны, русского поражения с русской революцией — не случайна. Она закономерна. Внешняя обида, а не внутренние страдания заставили русский народ пересмотреть коренные устои своей жизни. Он их пересмотрел и бесповоротно размежевал истинный, прогрессивный патриотизм от патриотизма ложного.

Провозгласив свободу политического и национального самоопределения под единой российской крышей, прогрессивный русский национализм вовсе не проявлял в период революции каких-либо черт «отталкивания» от других национальностей. Напротив. На полях Ляоляна и в морях Цусимы погибли русские, евреи, поляки, мусульмане, армяне и пр., и пр. Во время русского освободительного движения *братались* те же национальности и клялись бороться за свободу — внутри целого — *каждой* национальности. Что это значит?

Можно ли сказать, что в этом «революционном» братании проявился антинационализм движения? Или, наоборот, следует признать, что именно в этом братании сказался здоровый инстинкт, бессознательное чувство *самосохране-*

ния единой державы, каковы бы ни были ее политические и государственные формы? Или все освободительное движение не поняло само себя, жестко ошиблось? Все эти вопросы о характере и тенденциях освободительного движения, не вызванного, а *стихийно вспыхнувшего* после *внешней* неудачи, имеют первостепенную важность, раз уже зашла речь о «национальных сущностях». С анализа этого глубоко патриотического движения и нужно начать рассмотрение «русского державного лица».

Не следует забывать, что русская революция вспыхнула в XX веке, когда развивающийся капитализм и его требования толкают все государства к сплочению, а не к разъединению. Лозунг «единая Германия», «единая Франция», «единая Австрия» перекинулся и на Россию, идущую в своей социально-экономической эволюции по тому же пути. Национализм, поэтому, у нас развивается и будет развиваться *российский*, а не *русский* или *великорусский*. Вот этот российский национализм мы и видели в 1905–1906 годах.

И только тогда, когда стали спадать волны освободительного движения, появился на сцене, как более или менее широкое общественное движение, патриотизм другой, патриотизм и национализм, отталкивающий все другие национальности. Именно этот патриотизм провозгласил русскую национальность державным хозяином земли российской, позабыв, что и все остальные народности проливали в *равной мере кровь* за спасение державной мощи этой земли... Только что провозглашенная освободительным движением программа — общая правовая, *государственная* крыша с широкими правами национальной автономности и с правом участия каждой национальности в общероссийских делах, была снова объявлена программой разрушительной, вредной и для внешней мощи России. И встали с тех пор лицом к лицу две программы, и нет между ними ничего третьего.

Теперь это третье нам обещают дать. Что же именно? В чем может выразиться практически эта третья, прогрес-

сивная, национально-патриотическая программа? Какие черты отличия от программы освободительного движения может она носить? Скажут, что освободительное движение, руководимое беспочвенными интеллигентами, сделало много ошибок. Верно. Но ведь ошибки были в тактике, а не в программе, не в цели, не в *существе* движения. У широких масс цель была и будет одна: добыть политическую свободу, обеспечить право на труд и на просвещение и этим укрепить пошатнувшуюся мощь государства. Идут ли они к этой цели, спотыкаясь и блуждая по неведомым тропинкам, или идут к ней прямо, безошибочно, — это безразлично. Кто может указать верные пути — тому честь и слава. Но что цель эта — восстановление *народной* мощи и *народной* силы, единственная цель, могущая претендовать на звание по преимуществу патриотической, — должна быть бесспорной для тех, кто видит физическую рану, нанесенную России японской войной, показавшей и легкую ранимость в корне больного и в корне начавшего гнить организма...

Не еще большее выступление национального лица *державной русской* народности со всеми ее традиционными особенностями поднимет русскую мощь, а лишь слияние национального лица *угнетенной русской* народности со всеми другими *угнетенными* же народностями в борьбе за общероссийскую свободу залечит все наши раны и обнажит не искаженные, а настоящие национальные лица...

К этому надо прибавить еще одно соображение, или, скорее, вопрос, — да может ли вообще из рабов состоять нация? Не начинается ли самое сложение нации лишь с момента *народной* свободы? Может ли рабское лицо быть лицом национальным? Или оно может быть лишь зоологически-расовым с более или менее резко выраженными физически-племенными, а не национальными чертами, — понимая «нацию» как совокупность культурных особенностей? Мы думаем, что нет. Лицо раба не может иметь национальных черт. При таком ответе связь *освободительного*

от рабства движения с здоровым национализмом еще ярче, еще рельефнее...

Итак, российский или русский национализм? И если русский, — то каково его содержание, чего он хочет, кого отталкивает и что к себе притягивает?

В. Хижняков

К «газетной буре»

Маленький факт, имевший место за чайным столом на квартире г. Ходотова, неожиданно вывел на сцену большие вопросы, и брошенная г. Чириковым в пылу полемического задора фраза о русской и еврейской культуре выросла в общий и страстный спор о национализме, со всеми теми осложнениями, какими обычно осложняется у нас этот вопрос. Обостренность и страстность спора «Слово» объясняет тем, что основной вопрос полемики о русском национальном лице «действительно назрел», что в «русском обществе ощущается потребность национального самопознания», что «сознается теперь вредный пробел недавнего прошлого — болезненная совестливость своих национальных особенностей».

Так ли это? Не следует ли чем-либо другим объяснить обостренность страстного спора, которую вызвали статьи газеты «Слово»? Разве нужно искать объективных причин, когда налицо та удивительная постановка, какую получили важные и сложные вопросы действительности на страницах «Слова»?

Пусть вопрос о «русском национальном лице» действительно назрел, и действительно русским обществом ощуща-

ется потребность национального самопознания («вредный пробел недавнего прошлого — болезненная совестливость национальных особенностей» мы оставляем на совести «Слова», — такого пробела мы не знаем), но честь возбуждения страстности и обостренности спора «Слово» безусловно может оставить за собой.

Уже в самом поводе, по которому возник спор, кроется неправильность его постановки. Ибо, когда отвлеченный вопрос о национализме и национальном лице соединяется с больным для современности еврейским вопросом, то неизбежно привлекаются к спору кошмары русской действительности, в центре которых стоит злосчастный еврейский вопрос.

«Спор», таким образом, стал сразу на зыбкую почву. Публицисты газеты «Слово» не только не стали на другую почву, а, наоборот, с культурной плоскости свели спор на политическую, осложнив поднятый чисто культурный вопрос вопросами патриотизма и государственности. Этим они совершили логическую ошибку. Пустив же в оборот слова, которые не были сколько-нибудь удовлетворительно объяснены и оговорены, они совершили ошибку сугубую — общественно-политическую, вызвавшую ту бурю, для которой не приходится искать объективных причин.

Если бы нам сказали просто: свои национальные черты нужно любить; нужно стремиться к проявлению и развитию творческих возможностей, которые таит в себе национальный характер; нужно культивировать свой язык, свою литературу, свое искусство, заботливо оберегая их национальные черты; нужно гордиться проявлениями национального гения, его успехами среди других народов и его влиянием на общий прогресс; в настойчивых заботах о национальном творчестве нужно создавать благоприятные условия для его развития, содействуя культурному национальному самосознанию.

Если бы в такой культурной плоскости был поднят спор, то, вероятно, и спора не было бы. Ибо творческая лю-

бовь к своему национальному лицу, в указанном смысле понимаемая, есть общепризнанный фактор человеческого прогресса, и эта деятельная любовь к своему нужна для культурного развития каждого народа и для успешного движения вперед человечества вообще.

И такие вопросы мы готовы были бы считать вопросами своевременно поднятыми, так как у нас, русских, недостает национального энтузиазма, мы не любим деятельно свое национальное лицо и с постыдным равнодушием относимся к своему национальному гению, чему выразительным примером может служить хотя бы тот факт, что на музей великого русского человека и художника слова, Л. Н. Толстого, со всей полуторастомиллионной России собрано до сих пор только три тысячи рублей.

Но в круге всех этих бесспорных вопросов нет места вопросам патриотизма и государственности. Ибо эти последние являются вопросами не русской национальности, а *общероссийскими* вопросами; они касаются в равной мере всех национальностей, населяющих российскую империю, и то или иное разрешение для них для всех равно обязательно. Патриотизм российской государственности в смысле живого стремления к созданию сильной страны, свободно развивающей свою мощь и счастливой счастьем всех населяющих ее национальностей — это должно быть общим здоровым чувством всех живущих в России национальностей, а не одной только русской. И такое чувство не одна лишь мечта. Оно существует и проявляется постольку, поскольку существуют нормальные условия для общественного развития в нашей стране. И даже поэтическая любовь к родным полям и долам не является монопольным чувством для одних только русских людей, а составляет общее чувство для всех «инородцев», выросших в нашей стране и сроднившихся с нею, и такую любовь хорошо показал неоднократно поминаемый в «споре» Левитан, проникновенно изображавший природу нашей страны. Такая любовь к родине-России проявляется также

в жгучей тоске по ней у всех вынужденно живущих в отдалении от нее, независимо от того, к русской, или еврейской, или татарской национальности они принадлежат, была ли им родина матерью или злой мачехой.

Вопросы патриотизма и государственности сами по себе — огромные вопросы, но они совершенно неправильно соединены были на страницах «Слова» с вопросом национальным, первоначально поставленным как проблема культурная.

И как культурная проблема — вопрос о национальностях и национальных лицах не носит в себе внутренних противоречий. Одно национальное лицо не должно быть противопоставляемо другому национальному лицу, его развитие не нуждается в таком противопоставлении. Самосознание и национальное творчество одной национальности должно развиваться вместе и рядом с самосознанием и творчеством другой. Это — линии параллельные, а не перекрещивающиеся, и они вместе ведут к одной общей цели — наибольшему общечеловеческому прогрессу, залог которого в самобытном и свободном, возможно более полном и разностороннем развитии всех национальных творческих сил. Всякая теория отталкивания одной национальности от другой создает опасность для безболезненного развития данной страны и общечеловеческого прогресса, так как она создает оправдание межнациональной вражды и направляет самосознание в ложную сторону — *от* национального и общечеловеческого прогресса, а не *к* нему.

Вас. Голубев

Поворот

«Наша газета» в споре по национальному вопросу, слава Богу, наконец перешла от ссылок на наши «грехи», на наше «прошлое», от уподобления нас «Новому Времени» и от прочих аргументов ad hominem (если не считать сердитой полемики в отделе «Печати» «Нашей Газеты», где все еще и сердятся, и выходят «из себя») к аргументам по существу. На этой почве продолжать спор стоит, ибо здесь мы видим прежде всего признание важности самого предмета спора, что до сих пор упорно отрицалось нашими оппонентами. Г. Хижняков, например, хотя и конфузливо, и с противоречащими друг другу оговорками, но все же решается сказать: «пусть вопрос о русском национальном лице действительно назрел и действительно русским обществом ощущается потребность национального самосознания». Мы очень рады этому признанию[1]. Но из его статьи труд-

[1] Мы очень рады этому признанию еще и потому, что один из пунктов спора о своевременности его можно считать покончeнным. Но, чтобы спор был действительно плодотворным, надо устранить и многие другие недоразумения и прежде всего надо перестать подсиживать нас на отдельных словах и выражениях, упуская из виду весь контекст наших статей. Ведь

но уяснить, в какой же «плоскости», по его выражению, он признает своевременность этого спора. «Если бы, — говорит он, — в культурной плоскости был поднят спор, то, вероятно, и спора бы не было». А ниже восемью строками он «такие вопросы» уже «готов считать вопросами, своевременно поднятыми», причем, что для нас особенно важно, своевременность поднятия таких вопросов г. Хижняков объясняет тем, что «у нас, русских, недостает национального энтузиазма, мы не любим *деятельно* свое национальное лицо и с постыдным равнодушием относимся к своему национальному гению». Справедливые слова, г. Хижняков! От души приветствуем вас! Вот ради этого-то мы и подняли весь спор и внесли в него ту страстность, которую вы в нас осуждаете. Вы сказали теперь то, что мы говорили все время. Да, именно, «у нас, *русских*, недостает национального энтузиазма», да, «мы не любим деятельно свое национальное лицо и с постыдным равнодушием относимся к своему национальному гению». Наконец-то «Наша Газета» поняла, в чем дело! И когда мы говорили не о российском национальном лице, а о *русском*, то мы скорбели именно о том, что мы, *русские*, постыдно равнодушны к своему национальному гению. Но между «Словом» и «Нашей Газетой» существует и глубокая разница, хотя есть, по-видимому, надежда договориться и относительно дальнейшего.

Разница между нами заключается в том, что мы считаем необходимым «*деятельно* любить свое национальное лицо»

только в полемическом азарте можно истолковать слова из моей статьи о том, что я считаю национальный вопрос «в главных чертах решенным» так, как это истолковал г. Максимов в «Русских Ведомостях». Из всего контекста моей статьи ясно вытекало, что национальный вопрос в отношении других национальностей, населяющих Россию, можно считать в главных чертах решенным *идейно*, в кругах прогрессивных слоев русского общества. А г. Максимов понял эти слова в смысле решенности вопроса в русской действительности и, приложив свой шаблон, тотчас же воскликнул «ну чем не нововременская программа». То же самое произошло и со словом «державность», и со словами «отталкивание и притяжение».

не только в «культурной плоскости», но и во всех других отношениях нашего национального существования. Этой деятельной любви, по нашему мнению, недостает нам, русским, и в области нашей государственности, и в области нашего патриотизма. Думаем, что не станет отрицать и «Наша Газета» необходимости любить наше государство, разумеется, не в том ненормальном виде, в каком оно существует сейчас. Думаем, что деятельной любви к своему национальному лицу недостает нам и в той области общественных отношений, которая тесно связана с понятием патриотизма. Если нам скажут на это, что нам нечем гордиться ни в области нашей государственности, где многое основано на насилии и подавлении других национальностей, ни в области патриотизма, монополию на который взяли реакционеры, то мы ответим на это, что не все и не всегда и в нашей государственности, и в нашем патриотизме было злом. Наша государственность строилась не только на насилии, она строилась исторически и гением русского народа, ибо в истории этого строительства были высокие моменты выступлений народа на защиту нашей государственности, хотя бы от внешних врагов. Тем более, не раз бывали у нас и высокие порывы *народного* патриотизма во все века нашей истории. К несчастью, за темными сторонами нашей официальной государственности и патриотизма мы совершенно упустили из вида и пренебрегли светлыми сторонами как народной государственности и патриотизма, так и той борьбой за внутреннее оздоровление и за внешнее освобождение и величие нашего государства, в которой так много было народного русского героизма.

Но нам говорят, что вопросы патриотизма и государственности — это вопросы *общероссийские*. Да, конечно, общероссийские. Да, конечно, они касаются всех национальностей, населяющих Россию. Но в большей степени они касаются нас, русских, ибо мы, русские, ходом истории оказались во главе строительства российского государства, как и во главе российской культуры, на почве которой возросли и Пушкин, и Гоголь, и Толстой. Мы, русские, особен-

но в последние годы, и особенно интеллигенция, совсем забыли о себе, о поднятии своего русского «национального энтузиазма», растворяя себя в общероссийском и даже космополитическом энтузиазме и тем ослабляя борьбу за оздоровление нашей внутренней жизни. Да, эта борьба ослаблена была тем, что в процессе ее главнейшие из населяющих Россию национальностей разделились внутри и частью боролись не против общего врага — старого бюрократического режима вместе с нами, а за себя каждый в отдельности, за собственное освобождение. То угнетение, которое испытывали национальности от обрусительной политики старого режима, они невольно перенесли и на русскую народность. Это факт, с которым необходимо считаться...

Нас упрекают далее в том, что будто бы мы противопоставляем наше национальное лицо другим лицам. Да, мы противопоставляем, что и необходимо для «деятельной любви» своей национальности. Но это противопоставление никоим образом не разумеет враждебности, подавления или угнетения одной национальностью других. Этого мы не проповедовали и не проповедуем. А если понимать нас в таком смысле, то ведь и «деятельную любовь к своему национальному лицу» в «культурной плоскости» можно истолковать как противопоставление другим национальностям. И если справедливо посылается г. Хижняковым упрек *русским* в том, что они не любят деятельно Льва Толстого и что они не в состоянии собрать несколько десятков тысяч на дом-музей его имени, то еще больших упреков заслужили мы, как русские же, в том, что не в силах *деятельно* полюбить лучший строй государственной жизни, ибо мы же ведь, русские, являемся основой нынешних ненормальных порядков. Точно так же мы же, как именно русские, заслуживаем упрека и в том, что не имеем сильного общественного мнения, проникнутого таким глубоким патриотизмом, который бы не допустил нашего унижения в балканском конфликте. Ведь это унижение касается прежде всего нас, русских, ибо государственность у нас

русская все же. Так вот чего требует действительная логика, г. Хижняков, если уж вы решились стать на почву национальности в «культурной плоскости» и посылать справедливые упреки в недеятельной любви к русскому национальному гению.

Нас постоянно попрекают еще термином «державный». В следующий раз мы постараемся подробно разъяснить наше понимание этого термина в отдельной статье, а теперь заметим, что державность русской и даже точнее (исторически) великорусской народности едва ли может быть оспариваема, ибо российская государственность, как и российская культура (поскольку о ней может быть речь) несомненно создана *русской* народностью, а не «российскими» народами, из чего не следует, чтобы державность русского народа была связана с подавлением других национальностей, с ограничениями их школы, языка, пропорционального представительства в государственных и общественных учреждениях, почему мы и говорили о «соглашении, а не слиянии». И нам ничуть не страшны попреки нас в «националистической пропаганде» со стороны «Нашей Газеты», ибо она со своим сердитым «бормотаньем» в отделе «Печать» о якобы исторических законах «классовых разделений» как «*основы* (курсив «Нашей Газеты») народной жизни в XX веке» не только явно противоречит в том же номере помещенной статье г. Хижнякова или статье Е. К. в «Правде Жизни», совершенно исключающих «национальные преломления» в «классовых разделениях», но и обнаруживает свою кружковую узость. В изучении истории обозреватель печати из «Нашей Газеты» дальше «детских рассказов» для юных марксистов сочинения г. Каутского, видимо, не желает идти, хотя, конечно, и знает, что марксистская литература, назовем хотя бы Шпрингера, пошла в национальном вопросе куда глубже Каутского.

Мих. Могилянский

Национальное самосознание и патриотизм

В несколько дней создавшаяся обширная газетная литература по национальному вопросу и ее полемический характер свидетельствуют о том, что выдвинута проблема, затрагивающая важные жизненные интересы. Интересы эти настолько важны и жизненны, что нам глубоко понятна та тревога, которую во многих возбуждает самая постановка проблемы. Но мы никак не можем согласиться с тем, чтобы постановку проблемы можно было счесть «неосторожностью», чтобы ее можно было снять с очереди указанием на то, будто бы она является одним из подозрительных «исканий», характеризующих «сумерки реакции». Только всестороннее обсуждение проблемы и способно устранить опасность тех ее «проекций», к которым будто бы угрожает свестись весь ее «жизненный смысл». Ввиду этого в наших глазах чрезвычайную важность приобретает правильность постановки проблемы: нам, например, кажется, что ошибочность в ее постановке у авторов, высказывавшихся до сих пор, была главной причиной той тревоги, какая сказалась в «полемических зигзагах» при обсуждении вопроса.

Коренной ошибкой в постановке национальной проблемы, с нашей точки зрения, явилось смешение понятий — национального сознания и патриотизма, особенно резко сказавшееся в статьях В. С. Голубева. В. С. Голубев начал свои статьи с постановки *национального* вопроса, выдвинул вопрос о ценности национального самосознания «державной» национальности и как-то незаметно вопрос о национальном самосознании заменил вопросом о *патриотизме*.

Говоря о последствиях японской войны и о том угнетающем впечатлении, какое японские победы произвели на «народное, национальное чувство», г. Голубев и сам как будто стремится выйти из узких относительно рамок национального самосознания «державной» народности. По крайней мере, непосредственно перед этим он говорит о «патриотизме» («Вместе с зоологическим национализмом выброшен был за борт и здоровый патриотизм»). Но из дальнейшего мы видим, что «здоровый патриотизм» г. Голубев сводит к подъему национального самосознания «державной» народности, каковому и придает исключительно важное значение, утверждая, например, что если «державная» национальность останется в современном «униженном виде», то «не подняться в России и никакой другой из живущих в ней национальностей, не избыть нам и реакции». В ответе своим оппонентам г. Голубев опять говорит о патриотизме, даже статью озаглавливает — «О монополии на патриотизм», речь же в этой статье опять-таки идет о национальном самосознании «державной» народности, или, по терминологии автора, о «русском национальном чувстве». Эта спутанность понятий (не только терминологии) создает недоразумения, и их накопилось уже немало. Надо, наконец, резко и решительно разграничить понятия национального самосознания и патриотизма. Политическое объединение населения страны, достигшее известного уровня государственного самосознания, само по себе еще не создает и национального объединения. Политическое, государственное объединение создает идею

отечества, патриотизм — принцип интеграции в противоположность дифференцирующему принципу национального самосознания. Этим уже устанавливаются те рамки, в которых правомерно развитие национального самосознания. Если иметь в виду те практические результаты, во имя которых мысль и чувство прогрессивных публицистов направились сейчас в сторону разбираемых вопросов, то, казалось бы, именно пример японской войны, именно задача «избыть реакцию» — лучше всего освещают надлежащую постановку проблемы. Не национальный подъем «державной» народности, а *патриотизм* всех национальностей, образующих «империю народов», может и должен возродить целое — Россию. Сказанным определяется и то отношение, какое вызывает к себе теория о «притяжении и отталкивании» как о существе национальности. Если бы национальное самосознание вызывало притяжение к своему и отталкивание от чужого, развитие его у «недержавных» народностей, действительно, грозило бы обратить государство в рассыпавшуюся храмину. Так и смотрел на дело старый режим: «обрусение» вытекало из воззрения, согласно которому национальное самоопределение недержавных народностей, создавая и усиливая их «отталкивание» от народности «державной», расшатывает здание государственного могущества. И против «обрусения» во имя «целости государства» нечего возразить тем, кто «отталкивание» относит к сущности национальности. Но мы думаем, что этот взгляд, опасный практически, неверен и теоретически: не в «отталкивании и притяжении» заключается сущность сложного культурно-психологического явления, определяемого словом «национальность». «Отталкивание и притяжение» является случайным, наносным моментом в национальном самосознании, *производным* других жизненных факторов. Разграничивая понятия национального самосознания и патриотизма, мы думаем, что объединение политическое, государственное единство — патриотизм не влекут за собой денационализации, национального без-

различия. Патриотизм не исключает национального самосознания, равно как в свою очередь и национальное самосознание не исключает патриотизма. Быть патриотом «великой России» вовсе не равносильно отказу от сознания своей малорусской, польской, еврейской etc. национальности, равно как сознание своей еврейской, польской, малорусской национальности — не препятствие к патриотизму российскому. Патриотизм в России должен быть именно российским, что вовсе не приводит к тому «оброссиванию», против которого протестует П. Б. Струве, как против «безнужного и бесплодного прикрывания своего национального лица». Его рассуждения на эту тему основаны на явном недоразумении. Что касается национального самосознания, обнаружения своего национального лица, то оно в наших глазах является крупной культурной ценностью.

Но даже и теперь, когда, по справедливому замечанию В. С. Голубева, мы «болеем не только нравственным, но и физическим недугом», национальный вопрос в России с точки зрения «державной» национальности должен оставаться тем же, чем он был по определению Вл. Соловьева — «вопросом не о существовании, а о достойном существовании».

Только такая постановка национальной проблемы не допускает никаких угрожающих «проекций» ее.

М. Славинский

Русские, великороссы и россияне

В прогрессивной русской печати происходит нечто, совершенно невозможное еще так недавно: дебатируется вопрос о великорусском национализме, и — что самое важное — национализм этот находит защитников в этой печати. Совершенно не важен тот повод, благодаря которому возникли эти дебаты. Важно лишь то, что вопрос поставлен, и, может быть, важно для характеристики момента и российской действительности вообще еще и то, что для того, чтобы быть поставленным, он должен был пройти через специфический не для одной только России оселок национальных суждений, способствующий точным граням этих суждений и ясной дифференциации их в сторону и вовне гуманитаризма, — через суждение об еврейской национальности.

Однако вопрос о великорусском национализме, будучи поставленным, не нашел еще той точной плоскости, в которой он только и может быть разрешен. Плоскость эта пока еще только нащупывается во многочисленных статьях Струве, Голубева, Милюкова, Е. К. и других, рассеянных по всему лагерю прогрессивной печати и успевших

за несколько дней составить уже целую литературу. Литература эта весьма неравноценна. Наименьшую ценность представляют статьи Е. К., в которых, в сущности, говорится не о национальном вопросе, а о тех тенях, которые явились автору в «сумерках» и заслонили перед ним вопрос. Почти о том же, но не без возможности подойти к существу вопроса — говорит и Милюков. Углубляют вопрос и вскрывают его содержание, делая это, правда, не без тревоги и не без оправданий, лишь Струве и Голубев.

В их статьях вопрос ставится следующим образом. Великорусская народность имеет свое собственное национальное лицо, отличное от лиц всех других народностей империи, отличное также от лица российского интеллигента вообще. Лицо это великорусская народность должна проявить во всех областях своего быта и существования, а так как эта народность к тому же народность державная, то она должна проявить это лицо и в имперской, т. е. российской государственности.

Но и эта постановка, так сказать, лишь извлечена из их статей, ибо в них она слегка расплывается благодаря вплетению посторонних моментов вроде споров об «отталкиваниях и притяжениях», об «асемитизме» и пр., или же затушевывается крайне неточной терминологией, в которой вместо «великорусский» употребляется «русский», иногда даже — «российский».

Примем изложенную выше постановку, очищенную от посторонних наслоений, рожденных случайностью повода к возникновению этого вопроса. Несколько слов о национальном лице великорусском. Лицо это к настоящему времени, несомненно, является лишь намеком на нормальное. Покровы этого лица, способные покрыть лишь великорусские черты, столетие и более растягивали вширь, старались натянуть сначала на все русское, потом на все российское, имперское. Результатом этого процесса растягивания явилось то, что два других русских, но не великорусских лица, а частично также и все нерусские лица импе-

рии оказались прикрытыми чужой кожей, а великорусское лицо предстает перед нами в расплывчатом и не характерном для него виде: какое-то общее всем и чужое всем российское лицо. Это случилось, правда, только с интеллигенцией, но интеллигенция у всех народов как раз и является главной носительницей национального лица.

Оставим, однако, метафору о лице и будем говорить прямыми словами. Попытка обрусить, вернее, обвеликорусить всю Россию, попытка, не закончившая своего действия и ныне, оказалась гибельной для живых национальных черт не только всех недержавных имперских народностей, но и, прежде всего, для народности великорусской, во имя которой и в пользу которой она производилась. Произошло это не потому, что не прилагались соответствующие правительственные усилия, а потому что культурные силы великорусской народности для этого оказались слишком слабы. На Западе денационализировались слабые культурно народности в пользу сильных, и денационализировались, как следует, без остатка, как это случилось, например, с валлийцами, шотландцами, французскими и немецкими разновидностями, как это случилось и случается в Англии, Франции и в Северной Америке даже с евреями, народом, особо устойчивым в национальном отношении. В России вышло иначе; не-великороссы, втянутые в орбиту обрусения, не воспринимали новой национальности настолько, чтобы совершенно забыть о старой: никто из таких лиц не назовет себя, например, великороссом, хотя евреи, например, в Англии и Франции называют себя англичанами и французами bona fide. Денационализированные в России немцы и другие, далекие по национальности люди, пожалуй, еще становятся великороссами без остатка. Струве, например, несмотря на свою фамилию и на своих предков, несомненно, великоросс, но трудно сказать то же о людях польских, малорусских, еврейских и др. фамилий и предков; русскими, благодаря неопределенности этого термина, они себя еще, пожалуй, назовут, но не великороссами.

Теперь, по-видимому, приходит время, когда дальнейшая половинная денационализация, наблюдавшаяся доныне в России, идет к концу, ибо каждая национальность хочет иметь собственное лицо, хочет его и великорусская, и такие половинные в национальном отношении люди начинают становиться лишними на всеобщем, хотел бы надеяться, братском национальном пиру Российской империи. В дальнейшем явлений денационализации не будет вовсе, или, если кто денационализируется, — а это случается во всем мире, и греха в этом нет, — то денационализируется без остатка, вроде того, как это случилось с небезызвестным в Австрии немецким националистом Свобода и его противником чешским националистом Краузе.

Случится это в России, конечно, не завтра, — для этого нужны годы, может быть, не одно поколение, но что к этому идет, это — несомненно. И первым этапом в этом движении является возрождение великорусской народности, для которой настало время обрести свое собственное лицо, не присваивая ему монопольного названия — ни русского, ибо на название «русский» существуют среди народов России еще два претендента, исторические права которых на это звание в худшем случае не меньше прав великорусского народа; ни российского, ибо на это название вправе претендовать, кроме трех русских племен, еще и все имперские народности не-русского и даже не-славянского корня.

И такое отграничение великорусской народности от ее русских и не-русских соседок и сестер по единому государству, несомненно, будет только полезно для нее. Экстенсивное доныне развитие ее превратится в интенсивное, корни прочнее войдут в родную почву, кругообращение крови станет нормальным, лицо ее очистится и оздоровеет, как оздоровеют и все национальные лица империи.

Но есть нечто уже и теперь, что может и должно остаться навсегда единым во всех национальных лицах империи, и это единственное есть и будет главным образом великорусским — это российская государственность. Эта часть

национального сознания, легче всех других подверженная разрушению и смене, разрушенная в части к нашему времени и ныне созидаемая вновь, — и должна стать тем цементом, который послужит для укрепления связи между всеми имперскими национальностями. Приоритета великорусской народности в этом направлении не оспаривает никто из всего имперского национального хора; державность великорусской народности остается за нею, и это будет тем общим, что свяжет ее со всеми народами империи, что будет принадлежать только ей и что в то же время будет достоянием всех других.

Державность великорусской народности должна стать ее национальным «притяжением», «отталкиванием» ее пусть будет ее национальное углубление, расчистка и оздоровление темного и запущенного содержания ее национального сознания. Русский по племени, но не великоросс по национальности, россиянин по государственности, пишущий эти строки, приветствует начало этой работы; глубоко убежден, что такие приветы раздадутся со стороны представителей всех имперских национальностей, ибо то, что эта работа началась в лагере прогрессивном и демократическом, ручается за то, что она будет проведена так, как она должна производиться, т. е. на основе великого и неприкосновенного принципа: natio nationi res sacra.

А. Погодин

К вопросу о национализме

Роковым образом мы идем к этому вопросу, который еще так недавно был совершенно чужд русской интеллигенции, а теперь выдвинут жизнью так резко, что от него уже не отчураешься. Русско-японская война, революция и потом реакция с ее «национальными союзами» и другими уродливыми проявлениями чувства, которое при большей сознательности нашего общества вылилось бы в совершенно иные формы, поставили перед нами проблему, что значит быть русским и хорошо ли, важно ли для развития России, чтобы ее граждане именно чувствовали себя русскими. Полемика, завязавшаяся по этому вопросу, чрезвычайно характерна; кажется, после «России и Европы» Данилевского, грозной отповеди на нее Соловьева и статей покойного профессора Градовского это первые выступления того сознания, которое просыпается, наподобие инстинкта самосохранения, у народов в минуты угрожающей им опасности. Национализм — чувство прежде всего боевое. Когда народности, господствующей в государстве и чувствующей свою ответственность за его сохранение и благополучие, угрожает опасность именно как народности государствен-

ной, она испытывает особенно остро свое национальное *я* и под знаменем его собирает тех, кому дорога целость государства. Минин был несомненным националистом — великороссом, когда он призывал народы к защите московского царства от поляков, шведов и казаков-малороссов; ему было дорого то национальное начало, которое было чуждо окраинным казакам, и здесь государственное сознание слилось с чувством своей народной отдельности. Этот национализм общего характера не связан тесным образом с теми или иными особенностями быта: саксонцы, баварцы, пруссаки отказались от употребления в литературе своих местных наречий, которыми они пользовались до Лютера, и стали писать на языке, созданном Лютером и его последователями. Австрия дает пример того, что народности, даже различные по своему племенному происхождению, могут быть проникнуты одним национальным чувством, известным у нас под неправильным названием австро-славизма. Не трудно представить себе мусульманина-татарина, еврея, литовца, прибалтийского немца, которые любят Россию как свою родину, лишь в ней чувствуют себя хорошо, готовы бороться за ее развитие и крепость. Это — национализм строительный, государственный, создающийся общей историей и общими интересами; он часто покоится где-то под порогом сознания, но, проникая иногда у некоторых и в сознание, принимает именно указанные формы.

Теперь мы испытываем потребность в пробуждении именно такого национализма, так как лишь на его основах можно дать России утраченную ею отпорную силу и вдохновить творческими стремлениями ее государственное строительство. Для этого же необходима борьба с национализмом физиологическим, который коренится в том, что народность сильнейшая стремится навязать народностям слабейшим государственный быт, им чуждый или их ограничивающий. Поляки из Познани стали на стражу своей народности лишь тогда, когда правитель-

ство Пруссии признало в них элемент, для государственной целости опасный, подлежащий искоренению именно как этнический элемент, — и лишь тогда поляки стали силой, действительно угрожающей немецкой государственности. Но лужичане в той же Германии не представляют явлений национализма опасного, потому что боевая сторона его направлена к отстаиванию таких ценностей, которые государство должно признавать без всякой для себя опасности.

Спор о национализме можно было бы свести к следующим положениям: народности, достигшие известного культурного развития, предъявляют к государству требование на признание за их культурой тех прав на самоуправление и национальную школу, которые заключаются в разумной децентрализации государственного управления; добровольно соглашаясь на эти требования, государство делает национализмы провинций для него не опасными; но если между ним и этими национализмами начинается борьба, то государство находится в положении больного, у которого нарушено соответствие красных и белых шариков в крови. Борьба между народностями равноправными менее вредит государству, нежели борьба между государством, которое говорит от имени господствующей народности, и этими национализмами, принимающими в таких случаях характер оперативных стремлений.

В ту эпоху нашей истории, которая началась со времени аннексии Боснии, — факта, имеющего громадное значение для нашего национального пробуждения, — становится ясным, что наш государственный национализм должен изливаться в еще более широкое море, в море славянства. Тогда он охватит еще более широкие пределы и приобретет европейское значение. Но — увы — нас разделяет нелепая, ненужная война между государством и народами, составляющими его.

Вас. Голубев

«Обман и лицемерие» или «реакционность»?

Как легко и быстро за наши статьи по национальному вопросу сопричислила нас прогрессивная интеллигенция к лику реакционеров, так же быстро, и ничтоже сумняше, официальная печать усмотрела в наших статьях «обман и лицемерие». В том и другом случае сказалась одна и та же точка зрения, привычная и удобная, на которую стоит только стать, чтобы одержать легкую победу над противником. И эта легкость оценки настолько соблазнительна, что применима к нам не только в полемике со стороны газет, где в разгаре спора еще вполне понятна недостаточная продуманность существа спора и аргументов противника, но тот же трафарет применили и публицисты толстых журналов, как, например, это сделал г. Н. Иорданский в апрельской книжке «Современного Мира». Не будем отвечать на все те обвинения, заподозривания и даже попросту брань, от которых при чтении статьи г. Иорданского прямо звон стоит в ушах. Цена всем этим заподозриваниям и приписке к реакционному лагерю настолько незначительна, что достаточно противопоставить обе эти стороны, чтобы видеть, как происходит таким образом своего рода нейтра-

лизация. Постараемся все же вникнуть в суть всех этих «полемических красот» и ответить по существу.

От нас требуют конкретной программы, требуют, чтобы мы точно сказали, чего хотим, какое содержание мы вкладываем в наше понятие национализма и в наш призыв к подъему национального чувства. Но при этом противники наши из прогрессивного лагеря сами уже спешат под эти понятия и призывы подставить то содержание, которое им мерещится и к которому они издавна привыкли под влиянием сложившихся понятий о реакционном, зоологическом национализме и казенном патриотизме[1]. Г. Иорданский, например, пишет, что «провозглашение державных прав русского народа логически и психологически влечет за собою не только подавление иноплеменников. Оно столь же легко может повлечь и почтение к исконным устоям русской жизни, созданным работой «коренного строителя русской земли» — великорусса, и признания петербургского византийства. А «подъем национальных чувств», по его же мнению, угрожает и политической европеизации России, и нормальным взаимоотношениям различных народностей к Российскому государству».

Что касается программ, то мы полагаем, что это дело последнее. Наше время не время программ, а выработки нового миросозерцания, углубления и критической проверки многих из тех программ, которые еще не так давно считались аксиомами. Мы скажем больше. Задачей настоящего момента является даже не столько конкретизирование содержания различных положений и программ, сколько именно подъем и углубление чувств и общих идей, ибо одним из тяжелых признаков нашего времени является упадок чувств и настроений и безыдейность. Нельзя жить изжитыми настроения-

[1] Кстати: нам совершенно напрасно приписывается термин «национализм», разумеющий по установившемуся понятию национальный эгоизм. Мы все время говорим о подъеме национальных чувств, о национальном самосознании, лице и пр., а не о национализме.

ми, нельзя творить новую жизнь по старому шаблону. И эти новые настроения и новое творческое отношение к жизни в действительности уже наступают. Укажем, например, в сфере рабочей и крестьянской жизни на особенный подъем кооперативного движения, которому интеллигенция придает глубоко важное значение, притом же исключением из него политики, на принципе беспартийности и внеклассового отношения к кооперации. Можно ли это явление объяснить только невозможностью политического движения рабочих масс при настоящих условиях? Конечно, нет, ибо не лучшие политические условия были у нас и в течение многих-многих лет до 1905 г., а тогда смотрели на кооперацию как на жалкий паллиатив при капиталистическом строе, и даже считали ее вредной затеей, как отвлекающей рабочие массы от классовой и политической борьбы. Давно ли наша интеллигенция равнодушно и даже отрицательно относилась к внешней политике, к подъему нашего международного престижа и к военной нашей силе? И разве возможны были еще так недавно те проявления патриотических чувств со стороны оппозиции в лице не только кадет, но и трудовиков, какие мы только что наблюдали в Гос. Думе по поводу выражения сочувствия признанию независимости Болгарии? И разве эти чувства навеяны только духом противоречия, как бы в пику германофильствующим правым? Думаем, что только «Россия» способна усмотреть и здесь «обман и лицемерие», ибо, с одной стороны, она органически не способна понимать и чувствовать искренность, а с другой — в ее понимании патриотизма и «подъема национальных чувств» действительно разумеется то, что понимает под этими, к несчастью, действительно «загаженными» словами г. Иорданский. Но ведь вольно же их так понимать.

А как известно, в скором времени предстоит юбилей Полтавской победы. Это одно из величайших событий в русской истории готовятся чествовать, с одной стороны, по казенному, с другой — по черносотенному шаблону. Но по существу то? Нельзя же отрицать чествования с точки зрения самой тесной

органической связи этой победы с той европеизацией, в которой г. Иорданский видит «идейное наследство русской интеллигенции»? А ведь отношение к этому чествованию со стороны интеллигенции уже ясно. Вполне возможно понять и равнодушие, и недоверчивость ее к этому чествованию вследствие той атмосферы, которая окружает уже его. Но ведь это не доказательство по существу. А между тем именно эта причина, в конце концов, является для нашей, особенно современной, интеллигенции важнейшим аргументом против патриотизма, против подъема национальных чувств и т. п. Однако при более глубоком отношении к этим чувствам, этим понятиям и этим фактам, не следует ли стать на совершенно другую точку зрения, не на точку зрения «наоборот» и отрицания, а на иную, на точку зрения включения этого рода чувств в свою среду, в свою атмосферу, в свои прогрессивные понятия?

Но нам говорят, что патриотизм есть понятие не узконациональное русское, а общероссийское, а что мы говорим преимущественно о подъеме национальных чувств державной национальности, то есть, в конце концов, великорусской. Да, мы это говорили. И говорили на том основании, что, например, в указанных выше случаях проявление патриотических чувств тесно связано с русской государственностью, а также, что еще более важно, с ответственностью за события. Когда выражаются проявления патриотических чувств по поводу признания независимости Болгарии, то главная ответственность и исторически, и в настоящий момент лежала и лежит именно на русских людях. Уже самый факт положения других национальностей, как подвластных и особенно угнетаемых современным режимом, в значительной мере слагает с них эту ответственность и, напротив, сильнее налагает ее на нас.

Мы не раз уже говорили, что задачей настоящего момента является поднятие национального чувства русских. Есть ли это отказ от «европеизма для возрождения нового азиатства в русской жизни»? Есть ли это приобщение к «эпигонам славянофильства», поддерживающим «полицейский абсолютизм

и человеконенавистническое угнетение не-великорусских народностей», как думает г. Иорданский? Говорить и писать можно все что угодно. Но г. Иорданский упускает из виду, что идти следом за тем европеизмом, который действительно составляет «идейное наследство российской интеллигенции», — не значит еще идти в сторону того интернационализма и космополитизма, о котором говорит он в конце своей статьи, полагая, что «наличность рабочего класса», враждебного будто бы по своей природе всякому национализму, является «верным свидетельством неиссякаемости европейского течения российской мысли». Правда, такие теоретики национальной проблемы, как Шпрингер, для г. Иорданского не указ. Но идеи европейского пролетариата, выраженные, например, на брюннском партейтаге, служат достаточно сильным свидетельством тому, что и пролетариат не исключает национального самоопределения и национальных чувств.

Было время, когда европеизм для нас являлся синонимом идеалов при решительном отрицании всего русского.

Но теперь наступает другое время. И если мы далеко еще не достигли идеала европейской культуры и государственности и если стремление к европеизации надолго останется еще не удовлетворенным, то отсюда не следует, чтобы мы не дорожили своим, не заботились о подъеме своего национального самосознания. Необходимости для нас начал европейской культуры и государственности теперь не приходится доказывать. За них нужно только бороться. Но успешность-то самой борьбы, как показали события последних лет, во многом зависит от силы нашего национального самосознания. До сих пор, когда шла речь о подъеме национальных чувств, под этим разумелось национальное самодовольство, ибо нация совсем не могла проявлять себя. Это самодовольство потерпело страшное крушение. Теперь настало время подумать о национальном самосознании на почве европейских форм государственности, к которой мы все же приблизились.

П. Боборыкин

«Национальное лицо»

Это, гг., не кто иной, как некоторый старый наш знакомец, явившийся в новой маске на маскарад теперешней российской «неразберихи».

Вы его давным-давно знаете. То, с чем он теперь выступает, носило прежде другие клички. Оно не всегда было реакционное, но всегда отзывалось политикой и гегемонией Держиморды. Оно и *более четверти века назад* заигрывало с либерализмом, со славянофильским отвкусом и без оного.

Не могу (при всем моем нежелании примешивать к этому, якобы *новому,* вопросу что-либо личное) не припомнить, что в самом начале 80-х годов я напечатал (полуанонимно) статью в тогдашнем толстом петербургском журнале «Слово» под названием:

«Нашим национал-либералам».

Тогда, как вы также припомните, после торжества немцев над Францией и всеобщего поклонения «великому» канцлеру, возвестившего царство «железа и крови» в прусской палате и в общегерманском рейхстаге, громче всех выступали так называемые «*национал-либералы*».

Вот эту популярную кличку я и попытался приложить, mutatis mutandis, к нашим патриотам нового тогда оттенка,

принадлежавших к интеллигенции высшего сорта, к некоторым профессорам, из которых один пользовался большой популярностью и как бойкий публицист в газете «Голос».

Я лично, и довольно долго, знавал этого профессора-публициста, посещал даже его лекции в университете по кафедре государственного права и у него на квартире, и у себя.

У него было сложное credo: смесь либерализма с государственным консерватизмом и с симпатиями в сторону славянофильской доктрины.

Но такой «национал-либерал» половины 70-х и начала 80-х годов не выдумывал никакого «национального лица». Он был при разных непоследовательностях своей «платформы» все-таки гораздо определеннее и цельнее. Он не видел надобности проповедовать теорию своего *великорусского* расового обличья. Он был сам достаточно южнорусс и панславист. Его кругозор был шире.

И все-таки те, кто в тогдашней публицистике стоял *за* освободительное движение, не могли быть одного лагеря с этим «национал-либералом», и в таком духе написано было и мое обращение в журнале «Слово».

Прошло больше четверти века, и вот из-за какой-то газетной полемики, из-за желания непременно провозгласить какую-то новую истину, является этот старый знакомец под маской, на которой написано: «Национальное лицо».

Читатели моих бесед знают, что я никогда почти никого из живых не называю по фамилии. Воздержусь и на этот раз.

Но разве это не курьезный факт, что в данную минуту ярыми *великорусскими* националистами являются люди заведомо немецкой расы!

Кто были борцами славянофильства в области великорусской народной поэзии и новой изящной словесности?

Немцы: покойные Гильфердинг и Орест Миллер, который, хотя и перешел в православие, но родился в Остзейском крае, от отца и матери — немцев и лютеран.

Это показывает, между прочим, что процесс обрусения происходит у нас очень успешно, и таких немцев, как гого-

левский Кругель (в «Игроках»), можно считать сотнями.

Но при чем же тут «национальное лицо»? — спросим мы, если под этой метафорой разуметь не *российскую*, а *великорусскую* национальность? Напротив, такие превращения немцев в русских патриотов-славистов прямо ведут к признанию того, что под «национальным лицом» (или «обличьем», — как говорят поляки) следовало бы признавать всю совокупность духовной и материальной культуры общерусского племени в его разветвлениях.

Гораздо толковее и существеннее была бы постановка вопроса: наша изящная словесность, какого она происхождения в подавляющем своем составе и содержании — общерусского (т. е. *российского*) или *великорусского*? Это было бы особенно кстати в пору гоголевских дней!

Характерно во всей этой полемической шумихе то, что у нас недавние марксисты (т. е. люди, которые должны стоять *над* всем таким «жупелом» государственности и обостренного национализма) на наших глазах полегоньку переходили к радикальному перерождению своего недавнего символа веры.

Сначала полубуржуазный либерализм, потом и другие компромиссы, вплоть до проповеди грозной России, со смакованием такого существительного, как «держава», и прилагательного, как «державный», а потом и преклонения перед идолом «государственности».

Давно ли в нашей передовой печати кличка «государственник» (пущенная когда-то в русскую печать как раз пишущим эти строки) была далеко не почетным прозвищем, а теперь... «nous avons change tout cela!» — как мольеровский доктор!

Какое бы ни приобрели мы «национальное лицо», но если оно будет восстановлено путем такого, хотя бы и добровольного, *хамелеонства*, — лучше не иметь никакого и оставаться «без особых примет».

А. Васильев

Почему мой знакомый спрятал «свое национальное лицо»

— Вы где были у заутрени?

Если задают этот вопрос, то больше для того, чтобы, во-первых, самой или самому можно было сказать: «мы всегда в уделах», «мы в пажеском», «мы в домовой церкви графа Х» и т. д., а во-вторых, для того, чтобы можно было поговорить о своих и чужих дамских туалетах.

Мой знакомый, которого я спросил — где он был у заутрени, — ни в уделы, ни в пажеский не вхож, почему и ответил, что пошел со своим другим знакомым — французом на паперть Исаакиевского собора показать современному цивилизованному язычнику и нечестивцу, как у нас на «святой» Руси празднуют воскресение Распятого.

— Ну, — рассказывает, — пошли. Народу много. На углах портиков собора горят в чашках срываемые холодным ветром огни. На фоне черного неба верхние факелы озаряли, то сильнее, то слабее, громадную массу купола. Собор кажется еще более гигантским и во всей картине есть несомненная своеобразная величественность.

Обошли собор кругом и встали в переднем ряду лицом к северу; напротив у панели стояли экипажи и автомоби-

ли; сильные рефлекторные фонари одного, словно прожекторы, бросали странный отблеск на булыжники мостовой, как будто кто набросал на них пучки свежей и очень чистой соломы.

Народ густыми толпами стоял на ступенях лестницы и на самой площади; стоял, как всегда стоит русская толпа, молчаливо и смирно. Было так холодно, что все походило на рождественскую, а не на пасхальную ночь.

Впереди толпы, на площади, образовался довольно широкий проход, очевидно, оставленный для крестного хода. Я предупредил своего приятеля-француза, говорившего по-русски «карашо» и «пожалюста», что при прохождении процессии надо будет снять шапки. Живет он в России всего несколько месяцев, из богатого русского языка знает два указанных слова и еще те, которые покойный Лейкин называл «съедобными». Впрочем, по его уверению, il s'est tire d'affaire pas mal и никогда не жаловался на неприятности, обязанные малому знакомству с языком Пушкина. На мое предупреждение насчет шапок он, хотя и пробормотал, что il fait froid de loup, — но, разумеется, согласился снять, ибо в чужой монастырь со своим уставом не ходят.

Продолжаем мы смотреть и вдруг видим, посередине оставленного прохода идет быстрыми шагами, держа фуражку в левой руке, какой-то «классный полицейский чин» и не кричит, а орет, весь красный от натуги:

— Шапки долой! Долой шапки!

Француз спросил меня: что случилось? Я недоумевал — почему классный полицейский чин так орал? Никакой процессии не было, а он весь красный, возбужденный своим собственным криком, с каким-то упоением и ненавистью кричал:

— Долой шапки, шапки долой!

Толпа молча снимала шапки — я слукавил, возмущенный криком, приказом снять шапку, я не перевел французу этих двух слов и решил разыграть роль тоже непонимающего русский язык.

Полицейский, поравнявшись с нами, стоявшими в первом ряду, и, заметив нас в шапках, подскочил к нам и озлобленно в упор заорал:

— Шапки долой!.

Мой француз в довольно неакадемической фразе спросил меня, — что ему от нас нужно; я по-французски же ответил. Классный полицейский чин, очевидно, не ожидал наткнуться на представителей союзной нации. Услышав французский говор, он несколько понизил тон, но по-прежнему возбужденно и строго сказал:

— Я говорю: шапки надо снять!

Мы опять обменялись французскими фразами.

Он стоял перед нами и говорил:

— Шапочки нужно снять.

Среди окружающих послышался сдержанный смех.

В этот только момент из-за поворота показались верховые жандармы, фланговые их шеренги кололи одной шпорой лошадей, те нервно перебрали задними ногами, поворачивая крупы к толпе, поневоле поддавшейся назад, несмотря на тесноту и на то, что проход был совершенно свободен.

Полицейский офицер, убедившись, что мы по-русски не понимаем, — быстро поднял обе руки и, тихонько приподняв котелок с головы моего приятеля, сказал:

— Вот что надо сделать! Шапочки снять!

За жандармами шла процессия с хоругвями — ее опять замыкал взвод конных жандармов.

Мой француз, видя полицию, кавалерию и возмущенный жестом полицейского офицера, сердито нахлобучил свой котелок — я сделал то же.

Процессия прошла быстрым шагом.

Мы повернули и пошли. Дошли до крепости. В темноте ночи едва белелась масса крепостного собора. Вдруг блеснуло желтое яркое пламя и, довольно долго спустя, раскатился грохот пушечного выстрела. Затем блеснул второй огонь, осветивший платформу и профиль бастиона и рас-

катился второй пушечный выстрел. Затем еще и еще блестели огни, белый пороховой дым потянулся вдоль Невы.

— Ah, ce n'est pas comme chez nous, — сказал мне современный цивилизованный язычник.

— C'est drole quand meme de saluer par le tir d'artillerie la resurrection du Christ — впрочем, сейчас по своей скверной гальской привычке он поиграл словами: — tout a l'heure ou nous a *tire* nos chapeaux — et voila que maintenant on *tire* le canaux.

Я, спрятавший перед классным полицейским свое национальное лицо и притворившийся непонимающим такие национальные русские слова, как «Шапки долой!» — ничего не ответил.

Когда мы возвращались по Невскому, в нем горела иллюминация, а мой француз все приставал ко мне с вопросом:

— Et dites donc, est-ce vrai, que la nation russe est tres chretienn?

Я эту фразу могу перевести, — она значит: «Неужели правда, что русская нация очень христианская нация?»

Прибавление[1]

Евгений Чириков

Благодарю, не ожидал!..

Сенсационное известие!.. Писатель Чириков, написавший пьесу «Евреи», оказался антисемитом...

Действительно — сенсационное... Настолько сенсационное, что, когда мне перевели на русский язык заметку из еврейской петербургской газеты «Фрайнд», впервые провозгласившую об этом удивительном происшествии, я долго стоял перед зеркалом души своей и с изумлением разглядывал «нового антисемита», с часу на час готового, по описанию «Фрайнд», поступить в союз русского народа... Ничего, однако, похожего на антисемита я не усмотрел...

Скажите пожалуйста, кто бы мог думать!.. Никто. Ни одна петербургская газета не воспользовалась этим сенса-

[1] Открывающая сборник статья «Интеллигентская обособленность» является возражением г. И. в «Русских Ведомостях» №48 на статью «Обособление интеллигенции». Следующая — «Соглашение, а не слияние» — А. Максимову там же №49 на статью «Национализм и космополитизм». Замеченный уже во время печатания книги, этот в сущности маловажный пробел, равно как и другой момент полемики (г. Дубровский — «Речь» и г. Голубев — «Слово»), будут в случае выхода второго издания выполнены.

ционным событием, и я уже хотел махнуть рукой: «Могущий *это* вместить, да вместит!..»

Однако со страниц «Фрайнд» это известие по телефону перескочило в Москву, в № 47 «Русского Слова» и в № 48 «Раннего Утра», причем в «Русском Слове» приведена *приблизительно* моя скверная речь, а в «Раннем Утре» прекрасные речи Ш. Аша, Дымова и Шайкевича, причем я оказался посрамленным на всех пунктах...

Раз интимная беседа в гостях попала на страницы газет, где с легкостью треплется, на радость Бобчинским и Добчинским, мое имя, я вынужден сказать, сколько тут правды и сколько клеветы.

«Приблизительно» переданная речь моя, на основании которой я превращен в антисемита и духовного соучастника союза русского народа, передана настолько приблизительно, что от нее отдает чистейшей клеветой. Вот, в общих чертах, событие и моя речь.

В гостях у артиста Ходотова читалась пьеса г-на Шолома Аша «Белая кость». Пьеса, как правильно отмечено «Русским Словом», вызвала среди русских писателей и журналистов некоторое недоумение тенденцией автора — идеализировать одно из главных действующих лиц, Розу, на наш взгляд самую заядлую мещанку из мелкобуржуазного еврейского мирка, способную вызвать одну лишь антипатию.

Начались споры. Недоумение русских писателей еще более усилилось, когда автор пьесы сказал искреннюю, горячую речь, смысл которой сводился к тому, что мы, русские, не можем понять этой бытовой пьесы, и, чтобы Роза предстала перед нами в надлежащем ореоле героини фантастического склада, спасающей еврейскую аристократическую кровь, — необходимо быть евреем или прожить с ними 5000 лет. Никто из присутствующих евреев писателей и журналистов на это Ш. Ашу не возразил. Когда очередь говорить о пьесе дошла до меня, я, отдав должное достоинствам пьесы и указав на ее недостатки, перешел к затронутой автором теме. Я сказал, что если мы, русские, оказы-

ваемся неспособными понять еврейскую бытовую пьесу, то отсюда следует, что и вы, еврейские писатели и журналисты, не можете вполне понять и почувствовать наш русский быт. Подтверждаю это: многое «*бытовое*» из русской жизни в художественном воспроизведении на сцене рождает в моей душе целую цепь воспоминаний, настроений и переживаний, которых оно не рождает в душе еврея, и наоборот. Затем я высказал свое недоумение, почему некоторые из присутствующих писателей с «модернистским пошибом» и журналистов, очень свирепо относящихся к бытовым пьесам, в данном случае, при обсуждении пьесы г. Ш. Аша, пьесы узко бытовой (из быта польских евреев), совершенно забыли о провозглашенной ими же смерти быта, а совсем напротив, — один из них, не слышавший даже пьесы и приехавший после чтения ее, сказал очень лестное слово для автора, а относительно идейности пьесы заявил, что никаких идей не требуется. Не следует ли отсюда, что умер только русский быт, а еврейский остался?.. Далее я говорил о том, что такое отношение к быту несовместимо с идеей национальности, что национальность и быт неразрывно связаны друг с другом, что я сожалею только о том, что среди части еврейской интеллигенции за последнее время идея национальности начинает превалировать над другими идеями; говорил, что началось это с отделения от с.-д. партии; что на меня, русского интеллигента, воспитанного на бесплотных идеалах братства и равенства, это произвело когда-то весьма грустное впечатление; что если мне, русскому интеллигенту, торопятся прежде всего и громче всего сказать, что «мы — евреи», то мне позволительно вспомнить, что я — русский...

В этом месте со стороны слушателей-евреев послышался неодобряющий шорох и шепот, который, задев мое национальное самолюбие, заставил меня сказать:

— Да, русский, не «истинно-русский», а просто русский... Впрочем, мне все равно, как вам будет угодно это признать... И если вы заявляете, что мы, русские, неспособ-

ны понимать ваших бытовых пьес, то мне остается пожалеть, что меня критикуют не русские, так как большинство критиков петербургской прессы — евреи...

Вот весь материал, на котором должен делаться тот или другой вывод...

Ни о каком захвате русской литературы евреями я не говорил — это клевета. Да и глупости такой и сказать не мог, ибо русскую литературу с такими колоссами, как Гоголь, Пушкин, Некрасов, Лермонтов, Тургенев, Толстой, Чехов, — никто не может захватить, хотя бы и такие умные евреи, как это описано в «Раннем Утре».

Никаких угроз, что «мы вам покажем», что «мы будем бороться против вас» и т. д., как это сообщено в «Русском Слове», я не делал — это клевета.

Если, присутствуя в гостях, где имеются евреи-интеллигенты, достаточно сказать, что я — русский, чтобы попасть в антисемиты и чуть ли не в члены союза русского народа, то это с несомненностью подтверждает только то, что я говорил: «гипертрофию» национальности, становящуюся национализмом...

Извиняюсь перед читателем, что приходится занимать его внимание своей персоной по этому «семейному инциденту», раздутому гг. Бобчинскими до события значительной важности.

2.

ПОЛЕМИКА О НАЦИОНАЛИЗМЕ 1916–1917

Дмитрий Муретов

Этюды о национализме[1]

I. Эрос в политике

1.

Излюбленной темой нашей философской публицистики является критика и опровержение национализма, нападки же на него и борьба с ним — постоянное занятие для публицистики злободневной. Истинно можно удивляться живучести этого зловредного строя мыслей, против которого русской интеллигенции приходится посылать все новых и новых лучших своих бойцов. Мы помним крестовый поход, предпринятый против национализма истинным паладином — Владимиром Соловьевым, помним, как П. Н. Милюков с ученой невозмутимостью и уверенностью объяснил нам его возникновение и гибель; позднее Д. С. Мережковский открыл, в чем Звериный Лик, а прошлой зимой кн. Евгений Трубецкой доказывал, что только национализм

[1] Два эти этюда написаны не одновременно и по разным поводам. Однако сопоставление их кажется мне лучше выражающим мое отношение к национализму, чем каждый из этюдов в отдельности. Автор.

мешает нам овладеть Святой Софией, а вместе с ней проливами и многими выгодными угодьями.

Если национализм безнравственен, если он отжил свой век, если он есть порождение дьявола и даже совсем невыгоден, то как же, в самом деле, могут находиться еще его сторонники, как может и смеет он еще существовать?..

Qui prouve trop, ne prouve, очевидно, rien. И в беспорядочной смене точек зрения, и в том понижении морального воодушевления, которого нельзя не констатировать, переходя от Соловьева к кн. Трубецкому, чувствуется неудача всего философского похода против национализма. Война, поставившая русскому сознанию вопрос о национальности, как жгучий вопрос современности, вскрыла «кризис русского антинационализма» и привела его к той действенной практически-идеалистической позиции, которую занял кн. Трубецкой.

2.

В чем же тайна бесплодности этих критических усилий, безрезультатности столь могучих ударов? По моему мнению, она заключается в том, что критика прошла мимо истинной сущности критикуемого явления, боролась с призраком, с двойником национализма, боролась с ним в области, в которую он не вступает.

Вглядываясь в действительность и историю, наши моралисты заметили, что во имя народности нередко нарушается идея справедливости и стесняются права других народов. Приняв эти нарушения за сущность, они конструировали учение, нравственно оправдывающее такие нарушения, и назвали его национализмом. Он есть учение о неравноправности народов, о привилегированном положении одного какого-нибудь народа. «Должно любить свой народ, — формулировал сущность национализма Соловьев, — а к остальным относиться равнодушно и даже можно гнать и теснить их». И он противополагает ему свою блестящую по остроумию нравственную заповедь: «люби чужие народности, как свою собственную».

Дело идет, конечно, — поясняет он, — не о тождестве психологического чувства любви, но о тождестве моральных отношений. Но тут-то и лежит секрет бездейственности всей его критики: *национализм ничего не говорит о моральном отношении*, а именно о той любви, о которой ничего не говорит ни одна моральная заповедь. Национализм говорит, употребляя терминологию К.Н. Леонтьева, не о любви-сострадании, а о любви-восхищении. Он говорит: не «ты должен любить свой народ», но просто «я люблю свою народность».

3.

Любовь моральную, безразличную к индивидуальным особенностям любимого, можно предписать, но любовь эстетическую, интимную, личную любовь предписать нельзя. Почему нелепо сказать: «люби чужих жен, как свою собственную»? Потому что под любовью к жене мы разумеем любовь личную, выделяющую любимого человека из мира, противополагающую его всем другим людям, изымающую мои к нему отношения из мира законосообразных отношений. Было бы издевательством над душой человеческой сказать женщине: «я вас люблю», и подразумевать при этом моральное к ней отношение. Такое же искажение национализма — понять его любовь к своему народу, как моральное отношение к совокупности граждан.

Я не могу любить чужих жен, как свою, и не могу любить чужие народности, как свою, ибо та любовь, о которой я говорю в этих случаях, по существу своему отрицает равенство отношений. Она по существу своему есть неравенство, несправедливость, пристрастие. Национализм есть пристрастие, он есть тот вид отношений, который не терпит равенства. Как же подойти к нему с предписанием равенства?..

Национализм не претендует на справедливость, и всякий раз, когда он стремится объективно, логически доказать преимущества своей народности над всеми другими,

он облекается в чуждую ему по существу форму. Такие доказательства в основе своей схоластичны, т. е. лишены значения убеждающих доводов: разбейте аргументацию славянофила, и он откажется от нее, но не от своего вывода, не от веры в свой народ. Так бывало со схоластическими доказательствами бытия Божия: в логическую их убедительность верил тот, кто верил в Бога, тогда как, по мнению их создателей, эта вера должна была зависеть от их убедительности. Откровенный и сознавший сущность свою национализм не боится сознаться в том, что он не может доказать и объяснить оснований своей веры и своей любви к своему народу. Национализм делит в этом отношении участь всякой личной любви. Когда Отелло объясняет свою любовь к Дездемоне:

«Она меня за муки полюбила,
А я ее за состраданье к ним...», —

то он высказывает лишь незначительную часть бесконечно сложной правды, и вопрос скромной щедринской помпадурши «за что ты меня, бабу-дуру, любишь?», принадлежит к числу вопросов, на которые не было и никогда не будет дано удовлетворительного ответа.

4.

Безнравственно ли пристрастие, составляющее сущность национализма? Оно ни нравственно, ни безнравственно, ни добродетель, ни порок.

Божественное оно или дьявольское? Носит лицо Христа или Антихриста? Ни то, ни другое: оно глубоко человечно или, если забежать в моем изложении немного вперед, оно гениально.

Полезно оно или вредно? Опять-таки, ни то, ни другое: оно *действенно*, оно есть форма народного сознания, вне которой не может быть народного, т. е. общего цепи поколений, творчества.

Вечно оно или отжило свой век? Я думаю, что о нем можно сказать то же, что говорил об Эросе Сократ на пиру у Агатона[21]: «Он ни смертен, ни бессмертен, но в один и тот же день то цветет и живет, то умирает и опять оживает». Разве на наших глазах не ожил безнадежно, казалось, погребенный русский национализм?

Вообще только что установленные определения с поразительной полнотой приводят нас к Платоновым определениям Эроса. «Он не добр и не прекрасен, но не думай почитать его безобразным и злым». «Он не бог и не человек (до дьявола не додумались греческие мудрецы и, как сказали бы теперь наши философы, в них не было апокалиптической жути), но среднее между смертным и бессмертным: это великий гений». «В чем же полезен он людям... Он есть Эрос рождения», мы бы сказали — творчества.

5.

Что такое Эрос по учению Платона? Это — страсть к индивидуальному. Тем и отличается он от добродетели, которая есть постижение добра *общего*, идеи блага. Это — влечение к красоте, облеченное в форму страсти к данной конкретной красоте. Индивидуум никогда не есть чистая красота, и страсть к нему может быть только слепой страстью. Вот почему в своем «Федре» Платон называет Эроса одним из видов исступления. Любить страстно — значит любить слепо, любить выше разума, выходя за пределы своих понятий. Кто знает, что любит он и за что он любит, тот любит не индивидуум, а общее в нем, его добродетель, его ум, его красоту.

В этом ослеплении, в этом противоразумном характере Эроса — его сила и его опасность. И когда объектом такой слепой, выше разума, выше справедливости идущей любви делается не личность отдельного человека, но исторический народ, тогда возникает вид *политического исступле-*

[2] Диалог Платона «Пир».

ния — национализм. Все, что говорилось о национализме как его защитниками, так и критиками, становится понятным, если мы установим такое его понимание. Поэтому он не может впадать иногда в противоречие с объективными нормами правовой справедливости, он не может не рождать иногда даже ненависти к другим народам, не может не «презирать (как говорит Платон) все обычные правила своей жизни и благоприличия, которыми прежде тщеславился... и того, что через нерадение гибнет имущество».

Для кого благоприличие и умеренность есть последнее слово премудрости, тот всегда с ненавистью и презрением отнесется к этой неуловимой, могучей и неразумной исторической силе.

Национализм теоретический, т. е. философское учение национализма, живет и должно состоять в оправдании этой любви-пристрастия, иначе говоря, в оправдании Эроса в политике, как силы творческой, как того состояния, в которое впадает душа народа, когда, одержимая великим гением, она хочет рождать.

Сейчас я не ставлю себе задачу такого оправдания. Но мы переживаем момент, когда умерший и, казалось, погребенный навсегда Эрос пробуждается в русских сердцах. И причастные такому исступлению души ощущают уже тот зуд и трепет, какой ощущает она, по картинному изображению Платона, когда растут у нее крылья. Мы хотим только выставить открыто и твердо исповедание своего национализма. Перед лицом грозной опасности, переживаемой нами, мы должны смело любить свой народ, свой путь, свою мечту в истории выше всякой законом и разумом отпущенной меры.

II. Великий и малый национализм

Определение национализма, как национального Эроса, содержит в себе опасность полного устранения объективно-исторической точки зрения и с этой стороны настоя-

тельно требует некоторого ограничения. Оставляя пока в стороне общефилософские принципы такого ограничения, я желал бы дать пример его на одном частном историческом вопросе. Вполне удобным для этой цели является так называемый украинский вопрос, который с полным правом может быть рассматриваем как вопрос ограничительный по отношению к русскому национализму.

Такое рассмотрение тем более своевременно, что среди всех наших национальных вопросов украинскому вопросу как-то особенно не повезло. Его жизненной важности и глубокой теоретической содержательности почти не заметили в нашей литературе. В кругах заинтересованной политикой интеллигенции его стыдливо замалчивали, так как не могли осилить содержащегося в украинстве крайне националистического элемента. И действительно, было что-то теоретически нелепое в той поддержке, которую оказывали рационалистически и либерально настроенные круги самому нетерпимому, самому неразумному, самому необоснованному и претенциозному национализму украинцев. В тех случаях, когда приходилось дать теоретическое обоснование такой поддержке, вопрос украинский решали по образцу, выработанному для вопросов польского, финляндского, армянского и др., как частный случай свободы для «угнетенной национальности». Таким образом, рассмотрение вопроса ограничивалось, в сущности говоря, лишь неодобрением ограничительных мер, принимаемых против украинства правительством; лишь по удивительной небрежности к национальному вопросу можно было принимать за теоретическое разрешение такую чисто формальную, по существу своему, отписку. Впрочем, и говорили об украинстве большей частью вскользь, словно чувствуя, что в даваемом ответе не все ладно. Время от времени, однако, находится какой-нибудь публицист или общественный деятель, который поставит вопрос ребром, и тогда недостаточность и бессодержательность общегуманитарной точки зрения на украинство выступает с поразительной ясностью.

Такую услугу русскому общественному мнению прошедшим летом оказал преосвященный Никон. В нескольких статьях, напечатанных им в *Биржевых Ведомостях* (например, «Орлы и Вороны» в № 14983), он поставил вопрос об украинстве с большой определенностью. И поставил он его именно так, как всегда представлялся он сознанию нашей интеллигенции, т. е. как вопрос о стеснении личных прав малорусского населения. Преосвященный Никон полагал, что устранятся всякие затруднения, если мы согласимся с нашим известным историком госпожой Ефименко, что «хохлята наравне с прочими созданиями божьими имеют право учиться в своей родной школе». Но тут-то и вскрывается вся недостаточность общегражданской и отвлеченно-правовой позиции в украинском вопросе. Пока говорят об «армяшатах», «грузинятах» или «татарчатах», ссылка на право их на национальную школу разрешает, по-видимому, дело, но вопрос о «хохлятах» теоретически начинается как раз там, где кончаются вопросы о других «созданиях божьих». Никто не сомневался никогда, что малороссы должны учиться в своей родной школе, но разногласие было в том, *какая школа для них родная* или, шире, *что такое их родина*: Украина или Россия? С каким из двух этих исторических представлений должно связываться их национальное чувство?

Уясним себе значение этого вопроса. Творческое значение национальности заключается в расширении и обогащении личности человека; через народность человек включает в свое *я* целый мир народной жизни:

> «Ты раб заветных чар — но эти степи, рощи,
> Предания и слава — все *твое*»...

Но, включая в свое *я* определенное содержание своей народности, человек тем самым исключает из своего *я* все остальное. Если эта история моя, то остальная не моя. Если эти предания мои, то остальные не мои. Вот почему вопросы об украинской и русской народности суть вопросы, ис-

ключающие друг друга. Кто признает малороссов особой народностью, тем самым отрицает принадлежность их к народности русской. Кто говорит, что народным языком Малороссии является украинский язык, тот отрицает национальное значение для нее языка русского. Кто говорит: национальная литература Малороссии есть литература на украинском языке, тот отнимает у малороссов право считать Пушкина, Гоголя, Достоевского и Толстого *своими* писателями; тогда история Великой России не есть родная история для малороссов, предания мужества и самоотвержения, создавших величайшее в мире государство, — уже не родные для Малороссии предания.

В этом отрицательном моменте противоположения *своего* остальному как *не своему* — не только сущность национального сознания, *но и критерий для суда над ним*. Есть ли в том, что мы замыкаем и выделяем из мира, как *свое*, нечто ценное, нечто оправдывающее *гордыню национального сознания*: мы особые, мы особый народ! Преосвященный Никон цитировал в своей статье рассуждение М. О. Меньшикова, которое является, на мой взгляд, огрублением сравнения Данилевского («Россия и Европа») культурных типов с естественными разновидностями в животном царстве: ольха и береза, говорит преосвященный Никон, суть близкие ботанические виды; однако они хотят сохранить каждая свое своеобразие. Я думаю, что это простительно именно только ольхе и березе. Человеку же надлежит возвышаться над психологией полена. Человек не только констатирует различия, но оценивает их, — принимает или отвергает. А оценивая, он говорит: бывают различия важные, оправдывающие культурные разделения на особые народности, а бывают различия не важные, такого разделения не оправдывающие. *Есть великий национализм, а есть национализм малый*, возводящий ничтожные отличия в степень особого национального сознания.

Когда я говорю: *я русский*, то тем самым я говорю: *я не немец*. И есть такому разрыву человечества на части оправда-

ние. Стать немцем русский может, лишь потеряв свое человеческое назначение, потеряв свою правду.

Украинство не выдерживает такого испытания. В Галиции оно было возможно потому, что там сознание: я украинец, противополагало его немцу, венгру и поляку. В России ему нужно выдержать противоположение *русскому*, ибо противоположение «великорусскому» есть этнографичекое, а не культурное, т. е. национальное. Сознанное же такое противоположение либо разрушает украинское сознание, либо принижает его до той плачевной психологии, какой блещет действительное украинофильство. В таком противоположении всякий малоросс должен будет отказаться, как не от своего, от самого ценного своего. А то, что остается у него своего, это — жалкие обрывки, не дающие ничего цельного. Ни русского из малорусского, ни малорусского из русского исключить нельзя. Попробуйте сделать это с Гоголем, на три четверти обязанным своим творчеством русской литературе и русской духовной культуре, но внесшим и типичные черты хохлатской своей природы.

Украинский национализм должен замкнуться в мелочь, стать *провинциализмом*, внести в жизнь узость и слепоту сектанта: «За батюшки ази жизни не пожалею!..» Кому не известна живая психология украинства? Кто не помнит, как во дни гоголевского юбилея один украинский ученый доказывал, что Гоголь затосковал в конце жизни от раскаяния, что писал не по-украински, и сжег второй том «Мертвых душ» за то, что написаны они были по-кацапски?

Большую неясность вносит в дело рассмотрение всего украинства лишь как вопроса о мове. Вся сложность вопроса заключается именно в том, что при отсутствии ценного духовно-культурного различия с остальной Россией Малороссия говорила на своем *местном* языке, который при других исторических данных мог бы развиться в культурный язык. Должно ли теперь довершать этот процесс развития, или так и остаться малорусскому языку местным языком, который со временем сильно приблизится к дру-

гим местным говорам России, будет не развиваться, а нейтрализоваться? Разрешая этот вопрос оторванно от других, конечно, поддаешься общему всем жившим в Малороссии чувству: отчего бы и не развиваться этой милой, гибкой и живой *мове*? Но два культурных языка для одного культурного процесса — вещь немыслимая. И надо иметь мужество сказать: различие языков ведет к разрыву культурных процессов. Раз русская культура одна, то один для нее и язык. Мы не хотим, чтобы Пушкина часть русского народа изучала в переводах г. Крымского со товарищи. Языком школы может быть лишь культурный язык. Пока не было национальных культур, им мог быть только латинский. Теперь им могут быть языки национальные, но только те, за которыми стоят великие культуры. Национализм должен быть великим, или его вовсе не должно быть.

Можно ли примириться с тем, что милая мова останется местным языком и, как таковой, осуждена неизменно подвергаться влиянию языка культурного, национального. Я думаю, можно. Великие нации создаются двойным процессом: обособлением снаружи и отождествлением внутри. В этом отождествлении погибает кое-что милое нашему сердцу, но таково требование истории. И если бы украинский народ действительно восстал перед нами с вопросами: где мать Украина? где милая мова? и т.д., то мы ответили бы ему: мать Украина там же, где и государь великий Новгород со своим меньшим братом Псковом, там же, где славное княжество рязанское, она в истории великой России, как ее незабываемая в своей прелести страница и как необходимое условие ее настоящего величия. Твоя мова и твои песни живы в памяти русского народа и живы тем, что, иногда неуловимо, внесли они в общую русскую литературу, твои напевы вошли в русскую музыку, и сам ты есть создатель и обладатель всего русского богатства, которое по праву истории *твое*.

Наши предки понимали необходимость жертв, и России не бывать бы, если бы чувство особливости, говорящее в

украинстве, было в них сильнее чувства единства. Не будем же доктринерски перерешать вопросов, уже решенных историей, да не сбудутся над нами злые предсказания современного поэта:

«Нам пращуры работу дали,
Создавши Русь своим горбом.
Они Россию *собирали*,
А мы Россию *разберем*...»

Россия едина, пока един русский народ.

Петр Струве

Блюдение себя. Нравственная основа истинного национализма

I.

Мы живем в трудное время, когда на Россию нахлынул ураган мировой войны, и все вопросы и язвы ее исторического бытия обострились в исключительной обстановке величайшего столкновения государств и народов.

В первый момент войны мы были оглушены внезапностью этого столкновения, и большинство из нас на самом деле не ощущало того, что эта война будет длительной и что для ее ведения потребуются великие и подлинные духовные силы, постоянно и неуклонно действующие. А теперь, по прошествии года, нас иногда подавляет, иногда смущает материальная сила нашего противника, и мы склонны забывать о том, что все-таки решают в истории не материальные, а духовные силы, ибо, доколе жив человек, всякое снаряжение и вооружение есть лишь творение и орудие, а творцом и деятелем остается все-таки человек.

К человеку, к его силам и должно обратиться. В их умножении и собирании должна наша патриотическая тревога искать выхода, исцеления и возрождения.

Какие же это силы?

Во-первых, мы должны сознательно обратиться к силам национального и государственного сцепления. Россия родная и в то же время неведомая, такая близкая и в то же время безгранично-широкая и огромная, этот образ единственный и в то же время постоянно нам доступный — есть живая национальная стихия, объемлющая и питающая всех нас. Разными гранями и разными ликами обращается к нам этот образ. Но все мы, без всяких размышлений, любим родину-мать, живем и страдаем с нею.

Родина, страна, нация, государство, — словом, большое целое, нас объемлющее и нас питающее, есть сила, в служении которой мы сами черпаем духовную крепость и нравственное здоровье. Но рядом с этой силой стоит и сила личности, ответственной и за целое, и за себя. Действенный патриотизм невозможен без самодеятельной и самоуважающей личности, которая в служении целому обретает свое призвание.

Если Россия должна выйти из великой борьбы победительницей, то это невозможно без величайшего напряжения духовных сил. Их объединению, широкому и в то же время направленному на определенную историческую цель, выраженному в одном слове: *победа*, должны быть посвящены все усилия. Для этого необходима непрерывная работа мысли, идущая рядом с обострением обращенного внутрь нас чувства ответственности. Только так возможно собирание и организация патриотического духа. Для осуществления такой задачи нужна стоящая выше прочего любовь к живому образу России и сознание, что любовь эта может быть жизненна и действенна лишь в непрерывном практическом делании во имя победы. Это значит, что всякая мысль наша должна быть в конечном счете направлена на эту практическую цель и ею освящена. Не может и не должно быть колебаний и сомнений в этом, сейчас самом важном.

Но для того, чтобы мысль и чувства настроились действительно на такой патриотический лад, повторяем, нужна подлинная и глубокая работа духа.

II.

В помещенном выше этюде Д. Д. Муретова о национализме, как политическом эросе, указана и подчеркнута одна черта или сторона любви к своему народу и его государственной организации. Любовь эта не нуждается ни в каких разумных оправданиях и санкциях. Она *живет о себе*, как всякая подлинная любовь. Но тут выяснена только одна сторона. Другая, не менее существенная, оставлена в тени.

По существу дела *эрос* неразрывно связан с *этосом*. Всякая подлинная любовь, всякий истинный эрос есть в то же время всегда величайшая нравственная задача: не может быть для человека, одержимого таким эросом, большего горя и ужаса, чем ощутить бессилие разрешить или, вернее, непрерывно разрешать заключающуюся в любви огромную нравственную задачу. Это одинаково относится ко всем видам эроса.

Отсюда необходима и неизбежна такая постановка вопроса: если национализм есть обнаружение политического эроса, то он, в силу этого, не может не быть в то же время нравственной задачей.

Каков же реальный, жизненный смысл этого?

А вот каков. Если мы подлинной любовью любим наш народ и наше государство, то в их жизнь мы должны стремиться внести высочайшую степень нравственной силы. В самом деле, любя наш народ и наше государство, мы не можем не желать им силы и успеха. Всякая же истинная сила и всякий настоящий успех не могут быть только «материальными» и «внешними». Если только такая сила не мнимая и должна иметь успех не призрачный, она не может не быть силой духовной, она должна одерживать победы внутренние. Любить значит желать силы и возрастания любимого. А в отношении к своему народу и государству желать силы и усиления значит — призывать к упорной и суровой работе нравственного совершенствования.

Но нельзя просто желать силы и просто призывать к совершенствованию. Не в благих порывах и не в высоких сло-

вах тут дело. Нужно *созидать* силу, а это возможно только в творческой работе, в непрерывном делании. Подлинный национализм, заключая в себе нравственную задачу, требует непрерывного морального творчества, объемлющего и личную жизнь, и общественные отношения, и государственные задачи.

Это есть для меня не отвлеченное положение, а *живая истина*, непосредственно ощущаемая. Патриотизм и национализм означают, конечно, любовь к своему народу и государству и действенное их отстаивание в борьбе с *внешними* силами. Но такая любовь и такое отстаивание подразумевают *напряжение духовных сил самого народа*, требуют того, что я в роковую минуту решения вопроса о войне назвал *«блюдением себя»*.

Истинный национализм, таким образом, есть задача борьбы с внешним врагом за условия существования, права и достоинства своего народа, но в не меньшей степени он есть и нравственная борьба с собственной духовной слабостью. Не внутренняя междоусобная брань, а именно возвышающееся над всякими междоусобиями суровое ко злу, но любовное к людям блюдение себя во имя великих задач.

Евгений Трубецкой

Развенчание национализма. Открытое письмо П. Б. Струве

Многоуважаемый Петр Бернгардович.

Исполняя вашу просьбу — отозваться на напечатанную в январском № *Русской Мысли* статью Д. Д. Муретова, я вынужден предпослать моему изложению одну необходимую оговорку: для меня центр тяжести — вовсе не в этой статье, не вносящей чего-либо нового в обычную идеологию национализма, а в Вашем к ней отношении.

В прошлом году я напечатал несколько статей против национализма. Вы, напротив, заявляли себя «националистом»; но, так как этот термин понимался нами в разном смысле, то и материала для спора между нами не было. Под «национализмом» вы подразумевали такое понимание обязанностей к родине, которое и мною признавалось должным. Я, напротив, называл *национализмом* исключительное самоутверждение нации, т. е. такое направление, которое возводит служение нации в высшее и безусловное начало, не подчиненное никаким нравственным нормам. При этих условиях различие между нами — скорее терминологическое, словесное, чем существенное. Единственное возражение, которое я мог бы вам сделать, сводится к тому,

что термин «национализм» слишком многосмыслен и может подать повод к истолкованиям, в корне несогласным с Вашим образом мыслей.

Теперь мои опасения получают новое подтверждение. В заметке «Блюдение себя» вы подчеркиваете мысль, что *национальный эрос должен быть* прежде всего *этосом*, и хорошо делаете. Именно многосмысленность термина «национализм» вынуждает вас отмежевываться от многих других направлений, носящих то же название! Тем более я удивился вашему заявлению, что вы смотрели на Вашу статью лишь как на *дополнение* к статье Д. Д. Муретова, где самым решительным образом ниспровергается воздвигнутый Вами этический барьер. По-Вашему, высказанная Вами мысль, что национальный эрос неразрывно связан с *этосом*, представляет собою лишь «одну сторону дела»; другая «подчеркнута и указана» в этюде о национализме, где утверждается как раз противоположное: что «национализм ничего не говорит о моральном отношении», что сущность его — по ту сторону нравственного и безнравственного.

Или я вас совсем не понял, или то «блюдение себя», о котором вы так кстати вспоминаете по поводу статьи г. Муретова, должно было бы предостеречь вас против такого сближения. Прошу вас понять мои слова не в смысле нравственного осуждения названной статьи, а единственно в смысле оценки степени высказанных в ней мыслей.

Прежде всего в мысли г. Муретова есть колебания, которые доказывают, что его точка зрения им самим не продумана до конца. В июне месяце прошлого года он понимал русский национализм как «сознательное служение своей народности».[1] Теперь, семь месяцев спустя, он находит, что национализм, как и всякий эрос, противоразумен и слеп. Иллюстрируя такое понимание эроса, он заявляет: «кто знает, что любит он и за что он любит, тот любит

[1] См. «Правда нашей войны» в июньском № *Русской Мысли*, 1915 г., стр. 10.

не индивидуум, а общее в нем, его добродетель, его ум, его красоту»[2]. Что же такое национализм по мнению г. Муретова — сознательное и, следовательно, *разумное* служение или слепое и противоразумное чувство? Должен ли я понимать его в том смысле, что в июле он *знал*, что он любит в России и, следовательно, в сущности ее не любил, а в январе взаправду полюбил, и потому перестал любить разумно и сознательно?

Подлинная «любовь» возгорелась, очевидно, в январе, а потому наиболее интересным представляется для нас именно январское понимание национализма у г. Муретова. Посмотрим, что мы в нем имеем. Я пока оставлю в стороне вопрос — правильно ли отождествление национализма с чувством любви к родине. Посмотрим прежде всего, можно ли согласиться с тем, что эта любовь ни в коем случае не есть моральное отношение и что она «ни нравственна, ни безнравственна, ни добродетель, ни порок»?

Автор доказывает этот тезис сопоставлением любви к родине с любовью к женщине. По его мнению, «было бы издевательством над душой человеческой сказать женщине «я вас люблю» и подразумевать при этом моральное к ней отношение. Такое же искажение национализма — понять его любовь к своему народу как моральное отношение к совокупности граждан» (стр. 65).

Как мне кажется, как раз наоборот, было бы величайшим оскорблением любимой женщине — сказать, что любовь к ней *не есть* нравственное отношение; ибо этим самым любимая женщина ставилась бы на одну доску с проституткой, а любовь к ней утрачивала бы всякое отличие от любви Санина или Свидригайлова.

Я охотно верю, что г. Муретов не сочувствует этим героям Арцыбашева и Достоевского; но где же та грань, которая отделяет его понимание любви от их идеалов, если половая любовь как такая, *внеэтична*, если по самому су-

[2] Этюды о национализме, 6 гл.

ществу своему она «ни нравственна, ни безнравственна»? Ссылка на Платона в данном случае едва ли осторожна. Ведь именно Платону принадлежит различие двух Афродит — небесной и вульгарной. Если мы доведем до конца эту *нравственную оценку* двух видов любви, то вывод получится как раз противоположный тому, который делается автором «Этюдов о национализме». Половая любовь может быть или нравственным или безнравственным отношением: ничего среднего, *внеэтичного*, между этими двумя видами любви быть не может. Все рассуждение автора построено на довольно элементарном смешении понятий: из того, что половая любовь не составляет требования этики, возникает независимо от нравственного предписания, он заключает, что она не подчиняется нравственной норме и не подлежит нравственной оценке. Кроме того, само содержание нравственного требования он смешивает с требованием равенства, тогда как в этике половой именно *равное* отношение ко всем женщинам является в высшей мере безнравственным!

Совершенно те же ошибки повторяются в рассуждениях автора о национализме; но тут они становятся еще более опасными.

Я охотно верю, что г. Муретов не сочувствует тем видам национализма, которые у Соловьева удачно названы «национализмом хрюкающим и завывающим», в частности — тем проявлениям «национального эроса», которые разоблачаются в прекрасной статье А. С. Изгоева в том же январском № *Русской Мысли*, потому что самый факт помещения статьи в *Русской Мысли* представляет для ее автора солидную и не оставляющую места сомнениям рекомендацию.

Будь та же статья помещена в другом органе, я не знал бы, что мне подумать. В самом деле, если национализм по самому существу своему не есть нравственное отношение, более того, если он есть «пристрастие», исключающее справедливость, то чем один национализм хуже другого? Какое право мы имеем осуждать погромы и всякие другие бес-

чинства, если к национализму не применима точка зрения справедливости? Разве погромщики не будут вправе ответить на эти осуждения собственными словами г. Муретова: любовь к своему народу не подлежит этической мерке, потому что это — любовь слепая, идущая «выше разума, выше справедливости». Национализм есть «*политическое исступление*» (стр. 67); «поэтому он не может не входить иногда в противоречие с объективными нормами правовой справедливости, он не может не рождать иногда даже ненависть к другим народам, не может не презирать (как говорит Платон) все обычные правила своей жизни и благоприличия, которыми прежде тщеславился... и того, что через нерадение гибнет имущество» (стр. 67).

Я не берусь судить, в каком смысле г. Муретов понимает «гибель имущества» и о чьем «нерадении» идет здесь речь! Но я знаю, что у нас на Руси от «националистического исступления» погибло чрезвычайно много чужого и в особенности *еврейского* имущества; погибло даже много жизней; думаю, что чаще всего в этом виновно «нерадение» чинов полиции. Еще раз повторяю, я уверен, что этот уголовный смысл «исступления» и «нерадения» бесконечно далек от мысли г. Муратова и вызываемое приведенными словами недоумение объясняется лишь несоответствием между авторскими намерениями и неосторожными формулами его статьи!

Но я не только уверен, я точно *знаю,* что как раз *такими* формулами у нас всегда оправдывается погромная теория и практика. В 1905 году в Киеве, когда в ответ на манифест 17 октября начался еврейский погром, «нерадение» властей оправдывалось именно ими. Мне самому приходилось слышать тогда о *нравственной* невозможности противодействовать священному «исступлению» оскорбленного «жидами» национального чувства, о невозможности в подобных случаях воздерживаться от «ненависти» и от нарушения правовой справедливости.

Я спрашиваю не о том, признает или не признает г. Муретов правильность подобных рассуждений; я задаюсь

лишь вопросом о том, какие доводы можно *с его точки зрения* им противопоставить и в каком смысле эта точка зрения может служить *органическим* дополнением к Вашему, Петр Бернгардович, «этическому» национализму! Ведь если, в самом деле, мы допустим, что национализм *не может* временами «не презирать все обычные правила своей жизни и благоприличия», то нельзя и требовать от него соблюдения этих правил, ибо невозможное не может утверждаться, как должное. Какой тут может быть положен предел «исступлению» и «бесчинству»? На всякое «нравственное» требование, предъявляемое без полицейской угрозы, национализм будет вправе ответить: «я этого не могу: есть любовь выше справедливости»; а нам остается признать эту любовь в его действиях и забыть о правовых нормах.

Нравственный закон по самой природе своей *безусловен* и *всеобщ*. Допустить *какое-либо исключение* из области его действия — значит ниспровергнуть его целиком; допустить необходимость отступления от него в *некоторых случаях* — значит просто-напросто от него отказаться. Именно на этом пути стоят все оправдания исключений в пользу *своего народа*.

Есть классический анекдот о посещении графа Л. Н. Толстого известным французским националистом. Всем доводам последнего в пользу франко-русского союза Л. Н. Толстой противопоставлял одно и то же указание — на *недопустимость войны вообще и союзов в военных целях*. Националиста эти доводы не смутили; он отвечал: et moi aussi, comte, je suis absolument contre la guerre; mais, quand il s'agit de la patrie, c'est autre chose.[3]

Для меня безразлично, имеем ли мы здесь дело с былью или с простым анекдотом; для меня важен лишь нравственный смысл анекдота, как такового. Я понимаю тех,

[3] Я также, граф, безусловно против войны, но иное дело, когда речь идет о родине.

кто оправдывает войну *с нравственной* точки зрения, и сам разделяю такие оправдания; но я отказываюсь понять тех, кто признает войну или какое-либо иное деяние (все равно какое) безусловно недопустимым с нравственной точки зрения и вместе с тем допустимым, *когда речь идет о родине*. А между тем исключение — quand il s'agit de la patrie — всегда на устах у националистов, когда им нужно оправдать какое-либо «националистическое» или «патриотическое» безобразие.

Во всем этом одно представляется мне совершенно непонятным. Почему «исключения» из нравственного закона допустимы только ради патриотизма национального, ради *моего* народа? Почему не допустить их ради *моей* семьи, ради любимой *мною* женщины и, наконец, ради меня самого, если в самом деле я люблю себя *до исступления*, «выше разума, выше справедливости». Аргумент: «я люблю и, следовательно, не могу не бесчинствовать», совершенно одинаково приложим во всех этих случаях.

Если нужны какие-либо свидетельства в пользу этой аналогии, то их нетрудно найти в тех же «Этюдах» г. Муретова: именно он настаивает на *полной* аналогии между эросом национальным и эросом половым. Это и уполномочивает меня задать вопрос, можно ли оправдывать половым исступлением «презрение к обычным правилам жизни и благоприличия», ненависть к другим людям и отступление от «объективных норм правовой справедливости»? Оправдывается ли, например, этим «восхищением» перед возлюбленной посягательство на чужой кошелек, а также лихоимство с целью удовлетворения *ее* жизненных потребностей, или же и тут допустима «через нерадение» гибель чужого имущества?

Заранее убежден, что это в глазах г. Муретова недопустимо. Но почему? Его понимание *прав эроса* не дает на этот вопрос никакого ответа. Единственным *последовательным* ответом было бы указание на все то же исключение: «да, ради возлюбленной безусловно недозволительно красть, брать

взятки, убивать, а в большинстве случаев даже и сокрушать челюсти ближнего. Иное дело, когда речь идет о *моей* возлюбленной: quand il s'agit de la patrie, c'est autre chose!»

Прибавим к этому, что ссылка на невозможность соблюдать объективные нормы справедливости при наличии «исступления» чрезвычайно опасна и для самой возлюбленной. Если половая любовь не есть «нравственное отношение», то ведь «исступлением» можно оправдать и гнусное насилие над нею. И оскорбить ее этим как будто нельзя!

Ведь оскорбительным для возлюбленной с точки зрения нашего автора является скорее, наоборот, указание на «моральный характер» моего отношения к ней. Не простит ли она мне в данном случае вынужденное отступление от этики, если на ее жалобы я отвечу патетическим возгласом:«да, я злодей, но я люблю!»

Не очевидно ли, что точка зрения г. Муретова одинаково оскорбительна и для полового, и для национального чувства! Его указание, что оба эти чувства лежат вне плоскости нравственного и безнравственного и не могут стать нравственными отношениями, — отнимает всякую нравственную ценность как у того, так и у другого. А вместе с ценностью оба эти эроса теряют и всякий смысл.

Есть любовь и любовь. Характер любовного пафоса может выражаться в лести возлюбленному, в потворстве его дурным страстям или, наоборот, в *строгом* к нему отношении, в предъявлении к нему самых возвышенных требований. Чем же должна быть для человека любимая женщина — олицетворенным призывом к добру и как бы второй его совестью или, напротив, олицетворенным к нему пристрастием, сообщницей темных его страстей и низких побуждений?

Самая постановка этих вопросов предрешает тот ответ на них, который *должен* быть дан. Но совсем другой ответ вытекает из посылок г. Муретова. Во-первых, в его глазах половая любовь не должна и не может быть «нравствен-

ным отношением». Во-вторых, есть и другое, что должно было бы заставить его предпочесть именно любовь низшего типа. Чтобы быть гением-хранителем любимого человека, чтобы растить в нем нетленную красоту и восставать против всего, что в нем есть худого, любящая женщина должна *до дна знать его душу*. Но, как мы видели, январская точка зрения г. Муретова восстает именно против этого: она требует, чтобы любовь была *слепа*; ибо кто *знает*, что он любит, тот уже не любит.

Нужно ли доказывать, что те же вопросы возникают и относительно эроса национального! Совершенно так же уместно и здесь спросить, какова *должна* быть любовь к родине: должна ли она выражаться в демагогической лести, в восхищении всеми национальными недостатками только потому, что они национальны, или, напротив, в строгом их изобличении, — в деятельных попытках пробудить национальную совесть и в святом негодовании против всего, что пятнает духовный облик *моего* народа?

С точки зрения г. Муретова и на эти вопросы можно ответить только указаниями на роковую неизбежность пристрастия и нарушения справедливости в пользу *моего* народа. Утверждение такого национализма, который не есть «моральное отношение» к своему народу и к другим народам, есть по самому существу своему *принципиальное отрицание национальной совести*. Никакой точки опоры для противодействия демагогии худшего сорта в таком учении найти нельзя. Наоборот, в нем можно найти все доводы, которые всегда приводятся в ее оправдание.

Остается отметить грубейший из всех софизмов, каким обосновывается этот аморализм в эросе национальном и индивидуальном. Необходимость отступлений от справедливости и вообще изъятий из этических норм в пользу моего народа и в пользу предмета любви у автора мотивируется тем, что отношение к тому и другому для человека — по самому существу — индивидуальное — единственное в своем роде. Не только справедливость, но и нравствен-

ность вообще отождествляется г. Муретовым *с равным отношением* ко всем людям и притом во всех сферах жизни. Между тем именно справедливость и элементарная порядочность восстает против такого всестороннего уравнения людей. Одинаковое отношение ко всем женщинам в сфере половых отношений не только не имеет ничего общего с «справедливостью» и нравственностью, но представляется, наоборот, высшей мерой несправедливости и безнравственности. Утверждение *единственности отношения* к любимой женщине не только не есть исключение из нравственного закона или, как говорит г. Муретов, изъятие «из мира законосообразных отношений». Как раз наоборот, это — основное требование половой этики, ее специфическая «законосообразность». И так же единственность отношения к родине есть основное требование этики национальной. Несправедливым является не требование, чтобы я любил мой народ *больше* других, а как раз наоборот, требование, чтобы я любил чужие народности, как свою собственную.

«Несправедливость» начинается лишь с того момента, когда предпочтение к возлюбленной и к своему народу понимается как *начало, отменяющее нормы нравственности* и права. Это будет иметь место в том, например, случае, если «предпочтение» к любимому человеку будет нами понято как оправдание неуважения или насилия по отношению к другим людям, или если предпочтение *моего* народа будет мною истолковано как основание моего права угнетать и грабить инородцев, а также отказывать им в правосудии при всяком их столкновении с моими единоплеменниками.

Мне совершенно безразлично, как относится г. Муретов ко всем этим видам несправедливости. Важно то, что провозглашенный им принцип «пристрастия» как нормы должного по отношению к моему народу вообще отменяет всякие нравственные обязательства по отношению к другим народам и делает в применении к инородцам реши-

тельно все дозволенным. Отношения к ним с этой точки зрения должны определяться не нравственными нормами, а национальными интересами.

Есть еще один яркий штрих, дополняющий характеристику националистического аморализма г. Муретова. Точка зрения — «quand il s'agit de la patrie» — у него доведена до конца. У него *два критерия, две мерки* для суждения о национализме своем и чужом. Свой национализм «выше разума и справедливости» и должен составлять во всех отношениях изъятие из «целесообразного» порядка. Наоборот, по отношению к национализму украинскому он тут же прибегает к самому строгому суду *с точки зрения разума и справедливости*, причем в конечном результате этот суд приводит к беспощадному осуждению.

Я не принадлежу к числу защитников украинского национализма и уже высказал однажды в печати мое отрицательное к нему отношение. Но, казалось бы, с точки зрения г. Муретова «любовь-пристрастие» украинцев должна быть оправдана теми же соображениями, как и национализм русский. Всякие рассуждения о том, что Украина по тем или другим основаниям — менее достойный объект страсти или пристрастия, чем Россия, являются столь же недопустимыми, как и утверждение, что одна женщина имеет менее права, чем другая, стать возлюбленной. Аргумент г. Муретова «за что ты меня, бабу-дуру, любишь», казалось бы, уничтожает в первую голову все его доводы против украинства и против всего, что он называет «малым национализмом».

Впрочем, я согласен, что непоследовательность тут — только видимость. Пристрастие, так пристрастие! Я охотно допускаю, что именно эта двойная бухгалтерия есть вполне последовательное приложение точки зрения г. Муретова к национальному вопросу, я вполне понимаю, что с этой точки зрения должно признавать, что русский национализм не нуждается в каком-либо разумном оправдании и санкции, и вместе с тем отметать национализм украин-

ский, как лишенную нравственного оправдания «национальную гордыню».[4]

Конечный результат апологии г. Муретова сводится к развенчанию именно тех человеческих чувств, которые он берет под свою защиту. Это обусловливается не какими-либо случайными ошибками, а всем существом его точки зрения. Именно утверждение внеэтичности половой любви и национального чувства унижает и обесценивает как то, так и другое. Именно этот своеобразный эротический аморализм, низводящий любовь к женщине и к родине до уровня слепой страсти, несовместим с тем духовным подъемом, который озаряет оба эти чувства высшим смыслом и делает их бесконечно дорогими. В каком же смысле такое жизнепонимание может служить органическим дополнением к тому по существу этическому национализму, который проповедуете Вы, Петр Бернгардович, в том же номере *Русской Мысли*?

Как совмещается эта ваша попытка подчинить национализм контролю разума с национализмом г. Муретова, который сам себя характеризует, как любовь выше разума?

[4] Кстати, не этим ли «пристрастием» объясняется и отношение г. Муретова к противникам национализма? Вот, например, что он приписывает мне: «прошлою зимою кн. Евгений Трубецкой доказывал, что *только* (курсив мой) национализм мешает нам овладеть Святой Софией, а вместе с тем и его проливами и *многими выгодными угодьями* (курсив мой)». Автору, раз он делает эту ссылку, следовало бы знать, что в моей прошлогодней лекции «Война и мировая задача России» я как раз говорил о ненадобности для России территориальных приобретений. В лекции-брошюре «Национальный вопрос, Константинополь и Россия» я действительно говорил о единственном территориальном приобретении, которое я считал безусловно необходимым для России, о проливах, говорил и о том, что отрицательным условием достижения Россией этой цели является освобождение ее от национализма. Но утверждение г. Муретова, будто я указывал на национализм как на *единственное* препятствие к овладению проливами, равно как и слова *«о многих выгодных угодиях»* должны быть отнесены на счет его... националистического пристрастия.

Дмитрий Муретов

Борьба за Эрос. Письмо П. Б. Струве по поводу письма к нему князя Е. Н. Трубецкого

Дорогой Петр Бернгардович.

Удивительно, как мало в наших журналах теоретического интереса к самой мысли! Когда я решился напечатать два маленькие свои «этюда о национализме», я сознавал, конечно, что вопрос, мною задетый, требует и более систематического и более всестороннего рассмотрения. Но мне хотелось, прежде чем приступить к этой работе, проверить некоторые основные свои мысли и тем впечатлением, какое произведут они на других, и теми возражениями, какие будут мне сделаны. Я не могу пожаловаться, что их не заметили, но уровень вызванного ими интереса удивительно низок. «Не означает ли это, что *Русская Мысль* поправела?» — вот основное настроение, каким отозвались на них газеты. *Новое Время* за это похвалило, *День* выбранил. И поступили так не только газетные обозреватели. Философ Д. Койген так и начал свою статью: «Договорились! На этот раз не публицисты из *Земщины*» и т. д. Проф. Сумцов в *Южном Крае* прямо даже озаглавил свою статью: «Этюды по человеконенавистничеству» — Почему? какое человеконенавистничество в моих статьях? до чего особенного я до-

говорился? Дело очень просто; к мысли моей отнеслись не по существу, а по связанным с нею ассоциациям: все это мы слышали, думать мы об этом не хотим, надо только поскорее положить статьи г. Дм. Муретова в заранее заготовленную папку, где хранятся статьи из *Земщины* и на которой твердым и уверенным почерком написано: «Вредные мысли». А что стесняться с вредными мыслями? Как не расправиться с ними, лишь бы было упомянуто в статье или о полиции, или о *Русском Знамени*, а лучше всего о еврейском погроме. Какой же это национализм без погрома?..

К глубокому моему сожалению, по форме свысока, а по существу с недостаточной высоты отнесся к моим статьям и кн. Евг. Ник. Трубецкой в своем письме к Вам. Я не случайно назвал его имя в числе наиболее видных мыслителей, точке зрения которых я хотел противоположить свою. В вопросе о национализме он является живым защитником взглядов Соловьева, а это так много значит для мыслящего русского. Решаясь выступить против мнения нашего великого философа, я ждал суровой критики от кн. Трубецкого и принялся за чтение ее не без страха, что выяснится моя грубая оплошность. Не скрою от Вас, Петр Бернгардович, что окончил я чтение ее с глубоким разочарованием и что «Развенчанный национализм» остался для меня неразвенчанным.

Прежде всего не могу не посетовать на то, что и кн. Трубецкой поддался соблазну прибегнуть против меня к *argumentum pogromicum*, т. е. к утверждению, что моя точка зрения ведет к оправданию еврейских погромов; причем это сделано путем остроумным, но не имеющим в школьной логике никакого оправдания. Платон, описывая действие страсти в душе человека, говорил в «Федре», что человеку, охваченному страстью, «нет нужды, что через нерадение гибнет имущество». Это место из Платона я привел в своей статье. Надо ли доказывать, что никакого сомнения в том, чье разумеется тут имущество, грамматика не допускает? Раз не сказано, чье, то, конечно, подразу-

мевается свое. Если говорится: «NN почесал нос», то только в шутку можно спрашивать чей? Но князь Е. Н. находит, что моя формула неосторожна, и для доказательства этого вставляет в фразу два произвольных определения: «Через нерадение *полиции* гибнет *еврейское* имущество». Не спорю, что оборот получается остроумный, и я понимаю соблазн воспользоваться им в качестве argumentum ad hominem. Но, по совести говоря, Петр Бернгардович, что же он доказывает кроме того, что вставка произвольных определений на место логически подразумеваемых причудливо изменяет смысл предложения?

Сим заявляю, что если бы я захотел оправдывать погромы, то я написал бы так: «погромы — вещь похвальная», хотя бы для этого мне пришлось перейти из *Русской Мысли* в *Русское Знамя*. А пока я этого не написал, я вправе требовать, чтобы мои возражатели оставили сознательную игру бессознательными ассоциациями наших читателей.

Я не думаю оспаривать, что хорошими словами можно прикрывать дурные поступки. В том числе и словами о национальном эросе. Но у нас с кн. Трубецким речь идет лишь о хороших и дурных теориях. Вопрос не в том, не может ли кто прикрыть нашими словами дурные свои поступки, но в том, не прикрывает ли кто-нибудь из нас хорошими словами своей плохой философии. Теоретически же можно быть правым, защищая несправедливость, и быть неправым, защищая самую высокую мораль.[1]

[1] Доказательство тому, например, следующее. В приведенном выше рассуждении я считаю доказанным, что защитник справедливости кн. Трубецкой поступил несправедливо, вставив в фразу Платона два слова. В такой же несправедливости обвиняет меня кн. Трубецкой, говоря, что я вставил в его рассуждение несколько слов. Он объясняет это моим «пристрастием». Хочу показать Вам, что моя защита «пристрастия» нисколько не сделала меня логически пристрастным. При крайней сжатости моего этюда я должен был в одной фразе не только напомнить читателям сущность лекций кн. Трубецкого (содержание коих предполагал им известным), но и оттенить мое отношение к ним. Кн. Е. Н. считает иска-

Итак, я категорически отказываюсь рассматривать вопрос, поскольку *опасна* моя философия, не потому, что не имею ответа по существу, но потому, что считаю его диалектически неправомерным. Остается у нас таким образом лишь вопрос, насколько кн. Трубецкому удалось убедить Вас в том, что она *ошибочна*.

Я сказал, что кн. Трубецкой отнесся к моей статье одновременно и свысока, и с недостаточной высоты. *Свысока* потому, что посмотрел на меня как на человека, ставшего на низшую, чем он, моральную точку зрения. *С недостаточной высоты* потому, что не поднялся до той теоретической постановки вопроса, стать на которую, думаю, моя статья обязывала моих критиков. Никакой низко моральной позиции я не занимал просто потому, что у меня в статье вовсе нет никакой моральной позиции. Поэтому нет у меня никакого *аморализма*. Аморализм есть с формальной стороны моральное учение, так как содержит в себе ответ (хотя и отрицательный) на вопрос о безусловно должном. Мой же вопрос вовсе не моральный: каким должно быть отношение к моему народу? — а теоретический: как нужно ставить самый вопрос об отношении к народу? Вопрос этот логически первее, и ответ на него возвышается над различием морализма и аморализма.

жающими его мысль подчеркнутые в следующей фразе слова: «Князь Евгений Трубецкой доказал, что *только* национализм мешает нам овладеть святой Софией, а вместе с тем проливами и *многими выгодными угодиями*». Я понимаю, что кн. Трубецкой сам не написал бы подчеркнутых слов, потому что он не стал бы отрицательно оценивать своих взглядов. Мое «националистическое пристрастие» называется обыкновенно *иронией,* и ничего непозволительного в таком приеме речи нет. Если нужно иронию объяснять, то могу пояснить, что слово *только* вставлено для того, чтобы оттенить, что только об этом препятствии кн. Трубецкой счел нужным говорить, а слова об *угодиях* вовсе не обвинение в широких завоевательных планах, но осуждение той двойственной «практически-идеалистической» позиции, о которой я говорю в следующих строках. Считал и считаю дурным признаком, когда к моральному увещанию «ты должен так поступить» проповедник добавляет: «да оно тебе и выгодно».

В § 2 своей статьи я специально отвергал понятие о национализме как учении, признающем какие-то особые права за своей народностью, ставящие ее вне морали. Такой национализм есть, говоря языком схоластики, ens rationis — сущность, имеющее бытие только в разуме критиков. Поэтому, поскольку кн. Трубецкой возражает защитнику аморализма, он спорит не со мною, а с некоторым «воображаемым дураком», с которым спорить ему тем легче, что, как заметил еще Декарт: «Когда я сам являюсь причиной какой-либо вещи, то могу вложить в нее все совершенства, идеей коих только обладаю». Означенное *ens rationis* утверждает, что сделанное ради своего народа и ради своей возлюбленной хорошо даже тогда, когда оно само по себе дурно. Мудрено ли, что кн. Трубецкому остается поразить его указанием на всеобщность нравственного закона?

Как же случилось, что кн. Трубецкой приписал мне аморализм? Это случилось потому, что он приписал мне ту ошибку, в которой всецело повинен сам. Он утверждает, что я спутал два понятия *не морального*: 1) «не вытекающее из морального предписания» и 2) «не подлежащее моральному суду, т. е. аморальное». На самом деле это смешение принадлежит ему, так как именно он мои слова: «Эрос не есть моральное отношение (отношение порядка морального)», передал «Эрос есть аморальное отношение (отношение порядка морального, но отменяющее обычные моральные нормы)».

Я нисколько неповинен в таком смешении. Моральным я называл исключительно то, что *вытекает* из морального закона, им предписывается. То же, что не вытекает из закона и им не предписывается, само по себе не морально и, следовательно, не есть добродетель. Поэтому моральна та любовь, которую я обязан питать. Не моральна та, которую я могу питать, а могу не питать. Я не смешал морального отношения с равным отношением ко всем людям, т. е. не думал отрицать, что обязанности к детям и жене у меня иные, чем к чужим людям. Но я утверждал, что мораль-

ное предписание всегда *общее* и потому устанавливается им равное отношение ко всему, входящему в объем известного понятия. Должное отношение к людям вообще есть равное, поскольку они для меня только люди. Любовь к соотечественникам есть равная, поскольку они для меня только соотечественники. Наконец, обязательная моя любовь к жене есть *для меня* единственная, но равная любви Сократа и Платона к их женам.

От такой моральной любви я отличаю любовь личную, направленную на данное лицо как таковое, и следовательно, единичную по самому своему смыслу. Любовь к женщине для меня лишь пример, ценный своей яркостью. С равным логическим результатом я могу поставить любовь к данному ребенку или к данному другу. Ибо дело не в свойствах половой любви, а в том, что это есть отношение к единичному, поскольку оно единично. Такой любви предписать нельзя. Нельзя сказать: люби Анну, а не Марию, поскольку любовь эта направляется не на общее в них, а на самое конкретную индивидуальность. И равна она может быть всегда только самой себе.

Когда я сказал, что эрос не морален, то я разумел именно невозможность предписать эту любовь, *исключающую* по самому своему смыслу. И для того, чтобы пояснить различие, я сказал: «было бы издевательством над душой человеческой сказать женщине: «я вас люблю», и подразумевать при этом моральное к ней отношение». Издевательством потому, что она поняла бы эти слова в смысле любви-эроса, а я говорил бы о той любви, которую, по определению Канта, я обязан питать «ко всякому разумному существу»; неужели это не ясно? Между тем кн. Трубецкой мне отвечает: «Напротив, для женщины оскорбительно, если моя любовь к ней не есть моральное отношение». Неужели это не игра словами? Я говорю о различии двух отношений, а мне отвечают так, как будто бы я признал их исключающими.

Я никогда не говорил, что эроса нельзя ценить с моральной точки зрения, применять к нему категорию добро-

го и дурного. Но именно потому, что он может быть и добрым и злым, он сам по себе ни добр, ни зол. Недаром же учение Платона о двух Афродитах — небесной и вульгарной — не помешало ему написать, что Эрос ни добр, ни зол. Как и все, что само не вытекает из закона, любовь-эрос может быть доброй или дурной через подчинение или неподчинение себя закону. Таковы естественные влечения, напр. чувство самосохранения.

Теперь мы подходим к самой основе «Эротической науки». Как относиться к личной любви *самой по себе*. Видеть в ней лишь естественное влечение (половую или родительскую любовь), которое само по себе совершенно бесценно, или видеть в ней *эрос*, отношение, имеющее самостоятельную ценность, или, как Вы прекрасно передали мою мысль, *нечто живущее о себе*. Платон первый дал ответ: эрос не есть просто половое влечение, хорошее, поскольку оно подчинено закону, и дурное, поскольку ему противоречит, и сказал: эрос есть гений.

Совершенно так же ставлю я вопрос о национализме. Любовь к народу может быть либо моральной любовью (отношением обязательным), либо эросом, любовью необязательной. По отношению к первой формула Соловьева («люби чужие народы» и т. д.) верна. Можно указать и нравственно обязательное отношение к своему народу (патриотизм), но отношение это не будет *единственное* (равное только себе одному) отношение потому, что совершенно таким же должно быть отношение француза к своему, а немца к своему народу. От этой любви я отличаю интимную любовь к своему[2] народу, к его народности, т. е. ко всей конкретной его индивидуальности. Любовь эта сама по себе ни добра ни зла, потому что может быть и доброй, и злой. Вопрос в том: видеть ли в этой любви просто естественный факт влечения к своему — «всякому своя слюна солона»,

[2] Можно и чужому, если тело рождено в России, а душа принадлежит «короне французской».

который хорош, когда не переступает меры законной, и дурень, когда ее переступает, или видеть в ней *национальный Эрос*, единственное, неповторяемое в сущности своей отношение, носящее ценность само по себе.

Это и есть по-моему проблема национализма. Кто видит только естественный факт, тот космополит. Кто видит в этой любви *эрос*, тот националист. Tertium non datur. Ибо когда datur рассуждение, что бывает эрос добрый и дурной, то нет ответа на вопрос, каков он сам по себе.[3] Я нисколько не отрицаю права применения к эросу нравственных норм, но утверждаю, что, поскольку поставлена проблема о самом эросе, надо брать его таким, как он существует психологически.

Кн. Трубецкой приписывает мне желание, чтобы эрос был слеп и неразумен. Это вовсе не мое желание, а факт. Я взял психологическое описание эроса у Платона потому, что оно удивительно смелое и яркое. Вовсе я не говорил, что эрос должен не знать и не стараться познать любимого. Не говорил и того, что он вовсе его не знает. Кое-что можно объяснить в любви. Ведь и помпадур объяснял, что он свою дуру-бабу любит «за простоту». Но эрос есть любовь к конкретной индивидуальности. Индивидуальность же до конца разумом не познаваема. Поэтому эрос есть всегда любовь «выше разума». И то, что любовь приходит в столкновения

[3] Достойно замечания, что Соловьев, выступив с моральным разрешением национального вопроса, полагал, что борется на два фронта, против двух искажений: национализма и космополитизма. Националисты были названы по имени в его полемике со славянофилами. Космополиты — нет. И что же? Ни один космополит себя не узнал, ни один не принял вызова. Напротив, лагерь космополитический (западники) приветствовал статьи Соловьева. Сделай он обратное, назови он космополитами западников, а промолчи о том, кто такие националисты, «возводящие нацию в абсолютную ценность», — ни один националист не начал бы полемики: себя не узнали бы. А западники закричали бы: «разве мы отрицаем всякие обязанности перед родиной». Не ясно ли, что не ответ его ошибочен, а ошибочен *подход* к вопросу.

с нормами морали, вовсе не мое желание или «попустительство» ей. Таков просто факт. Такова любовь, что в сознании человека она становится выше сознания справедливости (не любовь выше справедливости, а сознание любви действует сильнее, чем сознание справедливости). Потому она в известном смысле идет *выше совести*. Потому-то она и есть *страсть*, а по Платону — *исступление*.

Принятие любви не отменяет нравственного суда. Признание в любви начала оправдывающего и снимающего вину (вроде вошедшего у нас в обычай оправдания убийств из ревности) есть великая мерзость. Подвиг, совершенный по любви, — хорош. Грех, совершенный по любви, — дурен. Принять любовь не значит оправдать грех, но принять ее можно только как она есть, с ее подвигом и ее грехом. В частности, я не понимаю, как можно *оправдать войну* со всеми ужасами человеческой злобы, которую она вызывает к жизни. Я могу мыслить ее лишь как тяжелый грех, принимаемый на душу ради великой любви к своей родине и великой (выше разума идущей) веры в ее назначение. И для того, чтобы принять войну, для меня необходимо сознание, что она безусловно необходима для моего отчества — qu' il s'agit de la Russe!

Признание психологической связи эроса с грехом вполне понятно может заставить некоторых отрицать его. «Ну вас с вашим эросом — один грех с ним» — так ставит вопрос гр. Толстой, и потому точка зрения его есть чистый *моралізм*, т. е. отрицание всяких ценностей, кроме ценностей моральных.

Отрицать морализм не значит отрицать всякую связь между эросом и моральным сознанием и всякое между ними отношение. Но связь эта, я думаю, не есть связь всегда одинаковая. Прежде всего ее можно мыслить различно, в зависимости от того, каков объект эроса. Можно воспользоваться, например, схемой Соловьева для его классификации нравственных обязанностей, т. е. различать эрос к низшему, равному и высшему. Если в отношении к низ-

шему (например, ребенку) эрос ведет к заботе о его моральном сознании, то эрос к высшему есть стимул нравственного возвышения. Жизнь народности (как я ее понимаю) представляется мне таким громадным духовным капиталом, что претензия «растить в душе народной нетленную красоту» представляется для меня недоступной. А если бы я и ощутил в себе такую гордыню, то в моей совести прозвучал бы призыв Достоевского: смирись, гордый человек!

Поэтому мне близко и дорого то понятие о связи между эросом и моралью, какое я улавливал у Вас, Петр Бернгардович. Ваше «блюдение себя» я понял так: *та громадная историческая задача, которую возлагает на нас любовь к России, требует величайшего напряжения наших моральных сил и величайшей строгости к себе*.

С начала войны в этом отношении Вы и кн. Евг. Трубецкой представились мне публицистами, различно понявшими свои обязанности. Кн. Трубецкой понял свою задачу как нравственное руководство историей и народной душой, Вы — как нравственное руководство обществом и нашими душами. Кн. Трубецкой говорил: народ должен; вы говорили: мы должны. Моя симпатия была на вашей стороне.

По существу в моральных рассуждениях кн. Трубецкого, может быть, и нет большой беды. Его «моральный патриотизм» путем некоторых логических на мой взгляд натяжек (Эрос большой софист и склонен представлять «моральным» то, что ему хочется) по большей части действительно есть та же норма поведения, как и Ваш национализм.[4] Беда в ошибке перспективы, в том, что кн. Трубецкой признал своим долгом предупреждать против злоупотреблений тем, чего на самом деле не хватало. Еще недавно можно было сказать, что проповедовать русскому обществу

[4] Однако нисколько не лучше гарантирует его точку зрения от вырождения в демагогию в форме газетных, например, обличений немецкого национализма.

национальную умеренность — все равно что проповедывать строгое единобрачие скопцу. Еще и сейчас оно находится в национальной и через то и нравственной дремоте. Беда в том, что «моральный патриотизм» исторически бессилен, что он есть только норма поведения, а не живая страсть души. Нам нужны огненные слова, которые всколыхнули бы вялую волю, обожгли бы сердца, пробудили бы дремлющие души, а такие слова пишутся в сердцах человеческих не благовонным елеем моральных рассуждений, а раскаленным металлом страсти.

Я сознательно отвечал лишь на основной ход мысли кн. Трубецкого. Не согласен я еще с очень многим в его письме. Во многих случаях вина в недоразумениях лежит на мне, так как вопрос, мною задетый, требовал по существу более полного изложения. Я надеюсь иметь случай это сделать.

Евгений Трубецкой

Новое язычество и его «огненные слова». Ответ Д. Д. Муретову

(Русская Мысль. Кн.VI. 1916. С. 89–94)

Заканчивая полемику с Д. Д. Муретовым, я могу быть краток. Автор «Этюдов о национализме» жалуется на отсутствие возражений «по существу» в замечаниях критиков по поводу этих этюдов; он сетует на то, что его мысли оценивались исключительно с точки зрения критериев левого и правого.

Критерием «левого и правого» я никогда не пользовался; и к статье Д. Д. Муретова я применял исключительно критерий *этический*, а не политический. Если тем не менее в моих замечаниях Д. Д. Муретов не нашел опровержения «по существу», это обусловливается тем, что задачей опровержения его мыслей я вовсе не задавался. Во-первых, я прекрасно понимаю, что аморализм не может быть опровергнут указанием на его аморальные последствия. Во-вторых, *сама по себе* статья Д. Д. Муретова не нуждалась в моем разборе, как «не вносящая чего-либо нового в обычную идеологию национализма». Новым для меня, как я заявил в самом начале моих замечаний, было единственно напечатание подобной статьи в *Русской Мысли* и отношение к ней П. Б. Струве[1].

[1] «Развенчание национализма», с. 79.

П. Б. Струве утверждает, что истинный национализм покоится *на нравственной основе*, и хочет, чтобы национальный эрос был прежде всего этосом. Соответственно с этим для меня центр тяжести лежал на вопросе, как же может П. Б. Струве сочувствовать статье, где отрицается как раз эта самая дорогая ему мысль, где самым решительным образом утверждается, что национальный эрос обладает сам по себе самодавлеющей, не зависящей от нравственного начала ценностью.

Очень сожалею, что П. Б. Струве уклонился от ответа на вопрос, относившийся *непосредственно к нему*, а не к Д. Д. Муретову. И это — тем более, что этим вопросом объясняется все построение моей статьи. Мне вовсе не было надобности опровергать мыслей Д. Д. Муретова: мне было достаточно дать *характеристику* этих мыслей, чтобы тем самым доказать их несовместимость с основными началами жизнепонимания уважаемого редактора *Русской Мысли*[2].

Весь вопрос в том, верна или не верна эта характеристика? Заслуживает или не заслуживает точка зрения г. Муретова наименования «националистического аморализма»?

Все попытки Д. Д. Муретова опровергнуть мои доводы преисполнены внутренних противоречий и тем самым лишний раз доказывают, насколько я был прав. Основное его возражение сводится к следующему.

«Никакой низкой морально позиции я не занимал просто потому, что у меня в статье вовсе нет никакой моральной

[2] Слова Д. Д. Муретова: «я категорически отказываюсь рассматривать вопрос, поскольку опасна моя философия», покоятся на недоразумении. «Опасными» я считаю мысли Д. Д. Муретова только для философии П. Б. Струве и ни для кого другого. Д. Д. Муретову не было надобности отвечать на вопрос, который *ему* вовсе не ставился. Ему незачем было отказываться от сочувствия еврейским погромам, в чем я его не подозревал. Но для выяснения точки зрения редакции *Русской Мысли* было бы важно знать, вытекает или не вытекает оправдание погромов из *предпосылок* ее сотрудника и как относится к этим предпосылкам «этический» национализм самого П. Б. Струве. Жаль, что именно этот мой вопрос остался без ответа.

позиции. Поэтому нет у меня никакого *аморализма*. Аморализм есть с формальной стороны моральное учение, так как содержит в себе ответ (хотя и отрицательный) на вопрос о безусловно должном. Мой же вопрос вовсе не моральный: каким должно быть отношение к моему народу? а теоретический: как нужно ставить самый вопрос об отношении к народу? Вопрос этот логически первее, и ответ на него возвышается над различием морализма и аморализма».

Нетрудно понять, в чем заключается скрытый софизм этого рассуждения. На самом деле «не моральный», а якобы «только теоретический» вопрос г. Муретова предрешает важнейший вопрос национальной этики. Ибо он ставится с единственной целью — доказать, что вопрос *о должном отношении к народу* может получить правильное разрешение не в области этики, а в области изобретенной г. Муретовым «Эротической науки». Есть область поведения, где в конце концов должна решать не совесть, *а любовь к моему народу* выше совести. Я могу сознавать, что известное деяние есть грех; но, раз это деяние нужно для моего народа, я *должен* его совершить. «Грех, совершенный по любви, — дурен. Принять любовь не значит оправдать грех, но принять ее можно только, как она есть, с ее подвигом и с ее грехом» («Борьба за Эрос», с. 94).

Г. Муретов советует принять любовь к русскому народу, как она есть, с ее подвигом и с ее грехом. В этом весь пафос его рассуждений: ибо национализм для него — больше чем простой факт, служащий предметом описания. Это — «норма поведения»[3]. Г. Муретов прекрасно знает, что эта «норма поведения» приходит в столкновение с нормами морали. И, однако, напрасно он утверждает, что для него эти столкновения — «просто факт», которому он, г. Муретов, не оказывает никакого содействия или попустительства. Вопрос о том, которое из двух требований я должен

[3] Буквальное его выражение, см. «Борьба за Эрос», с. 95.

исполнить — требование нравственной правды или требование «национального эроса», так или иначе нам навязывается, а потому должен быть решен. И г. Муретов решает его в том смысле, что в этом случае я должен принять на душу тяжелый грех «ради великой любви к своей родине и великой (выше разума идущей) веры в ее назначение».

Если это не аморализм, то я не знаю, что вообще может называться аморализмом. Ведь отличительный признак нравственного веления, как такового, заключается именно в его *безусловности и всеобщности*. Утверждать, что нравственное веление, в случае коллизии, должно уступить какому-либо другому, значит признавать его обязательным лишь *условно*; иначе говоря, это значит отрицать его, так как веление *условное* по форме (гипотетическое) уже не есть веление нравственное. Принимать нравственные веления с оговоркой «поскольку их исполнение не вредно для родины», значит просто-напросто отрицать их как нравственные и превращать их в советы житейского благоразумия.

Д. Д. Муретов пытается доказать, что и здесь нет аморализма. По его мнению, «принятие любви не отменяет нравственного суда. Признание в любви начала оправдывающего и снимающего вину (вроде вошедшего у нас в обычай оправдания убийств из ревности) есть великая мерзость. Принять любовь не значит оправдать грех, но принять ее можно, только как она есть, с ее подвигом и грехом» (с. 94).

Иначе говоря, г. Муретов спасается от аморализма путем глубокого внутреннего противоречия: с одной стороны, нравственный закон безусловно обязателен и преступить его — значит совершить великую мерзость. Но, с другой стороны, для меня безусловно обязательно нарушить эту безусловную обязанность и «совершить мерзость», если это нужно для родины. Представляю беспристрастному читателю решить вопрос, удастся или не удастся г. Муретову избежать здесь отмены нравственного закона!

Одно противоречие влечет за собой другое. В учении Д. Д. Муретова — их целая сеть. Забывши сказанное в на-

чале статьи, что эрос «может быть и добрым, и злым», а потому «он сам по себе ни добр, ни зол» (с. 92), г. Муретов двумя страницами ниже заявляет без всяких оговорок, что эрос к высшему есть «стимул нравственного возвышения». Он говорит в пояснение этой мысли: «жизнь народности (как я ее понимаю) представляется мне таким громадным духовным капиталом, что претензия «растить в душе народной нетленную красоту» представляется для меня недоступной. А если бы я и ощутил в себе такую гордыню, то в моей совести прозвучал бы призыв Достоевского: смирись, гордый человек!» (с. 94).

Вспомним утверждение Д. Д. Муретова, что в его рассуждениях о национализме нет никакой моральной позиции, и сопоставим его с этим *призывом к совести во имя национального эроса*; тогда нам станет очевидным внутреннее противоречие этого морализующего аморализма. С одной стороны, национальный эрос сам по себе — ни добр, ни зол, а с другой стороны, с точки зрения нашего автора, он превращается в такую норму для совести, которая требует от личности безусловного поклонения и смирения.

Ссылка на Достоевского в данном случае убийственна для автора «Этюдов о национализме», потому что именно она как нельзя более ярко изобличает внутреннюю неправду его точки зрения.

То высшее, что требует от нас смирения, для Достоевского — вовсе не народ сам по себе, а *Христос*, живущий в сознании народа. Сущность учения Достоевского сводится к тому, что над народом, как и над личностью, есть высшая, *вселенская правда*, пред которой должно смиряться; сущность учения Д. Д. Муретова заключается в том, что смиряться нужно *перед народом, как таким*. Достоевский был прежде всего христианином; поэтому в его миросозерцании «национальный эрос» имел лишь подчиненное значение; наоборот, г. Муретов подчеркивает мысль, что эрос национальный обладает ценностью самостоятельной, самодавлеющей, он есть нечто *живущее о себе* (с. 92–

93). Отличие точки зрения Д. Д. Муретова от религиозной точки зрения Достоевского и славянофилов выражается, между прочим, и в том, что он считает возможным обосновать свой национализм без содействия каких-либо метафизических начал (см. *Русская Мысль*, май 1916 г., с. 125). Этот национализм, боготворящий народность, воспрещает обращаться к своему идолу с какими-либо нравственными требованиями; по мнению г. Муретова, можно говорить: «мы должны», но воспрещается говорить: «народ должен» (с. 95). Иными словами, это значит, что высшая норма есть над личностью, но не над народом. Совершенно очевидно, что мы имеем здесь не христианство Достоевского, а чистое язычество в буквальном смысле слова; ибо самое наименование «язычество» (от слова «язык» — народ или нация) есть единственный этимологически правильный и точный по смыслу русский перевод иностранного слова «национализм»[4]. Если Д. Д. Муретов хочет быть последовательным в своем народопоклонстве, он должен усвоить этот перевод и ввести его в свой лексикон. Его мысль от этого, несомненно, выиграет в прямоте и в ясности.

И пусть он не называет себя продолжателем старых славянофилов. Для них, как и для Достоевского, центр тяже-

[4] Настоящая статья уже была сдана в набор, когда в письме одного корреспондента, лично мне незнакомого, я прочел следующие замечательно верные замечания по поводу моей полемики с Д. Д. Муретовым. «Думается, что не случайно отсутствие в русском языке своего слова для того понятия, которое обозначается словом «национализм». Русское народное самосознание его не выработало, потому что это слово ему не нужно. Какое-нибудь «племенство», «племенничество» могло бы народиться, но не народилось»... «Национализм племенной язычен. Это не игра слов, напоминающая о том, что «язык» некогда значило народ, племя. Он язычен, как противухристианское понятие. Поэтому в христианской морали ему нет места, степени, графы». Тот факт, что *русские* националисты для обозначения своего основного понятия не могут найти русского слова, — как нельзя лучше изобличает фальшь их точки зрения и подтверждает то, что я неоднократно высказывал: *русский национализм — не более, как плохой перевод с немецкого.*

сти лежал не в народном, а в универсальном, *во вселенской христианской правде*. Они почитали свой народ, поскольку они считали его носителем этой правды, но обращались к нему со смелым словом изобличения, когда он от нее отклонялся. Иначе говоря, в отличие от г. Муретова их отношение к народу было свободным, а не рабским. Пусть вспомнит г. Муретов вдохновенные слова Хомякова о крепостнической России:

> В судах черна неправдой черной
> И игом рабства клеймена.

Дерзнет ли он обратиться к Хомякову с увещанием: «смирись, гордый человек»? Так он, несомненно, *должен* поступить, если, сохраняя верность своим началам, он, в самом деле, любит свой народ «выше совести». В отличие от славянофилов и Достоевского, он должен брать Россию такою, как она есть, без их горделивого притязания напоминать своему народу про образ Божий *над ним*, — образ, столько раз забытый и утраченный. Все мое разногласие с г. Муретовым, как и вообще с эпигонами славянофильства, обусловливается именно тем, что, не будучи славянофилом, я *в данном случае* продолжаю традиции Достоевского и старых славянофилов. Если мой оппонент называет мою точку зрения «моральным патриотизмом», это свидетельствует лишь о незнакомстве с ней, ибо во всех моих печатных выступлениях, относящихся к данному предмету, я утверждаю исключительно *патриотизм христианский*, в котором и национальное, и моральное начала подчинены религиозному. Не так давно на страницах *Русской Мысли* я высказывал мысль, что нормой для решения всех национальных вопросов является Пятидесятница — «видение огненных язык», в коем выражается благословение всякой национальной индивидуальности. С этой точки зрения безусловно неверна и применяемая ко мне Д. Д. Муретовым характеристика: «кн. Трубецкой понял свою задачу как нравственное руко-

водство историей и народной душой». *Не я* хочу руководить народной душой и историей; но, вслед за славянофилами, Достоевским и Соловьевым, я хочу, чтобы *христианство ими руководило.* У Достоевского и славянофилов я беру *христианское зерно* их учения, а мой противник — его обветшалую, националистическую, языческую скорлупу. И в этой мертвой скорлупе он ищет тех огненных слов, которые «обожгли бы сердца и пробудили бы дремлющие души»!

Что же удивительного в том, что это ему не удается! Скорлупа давно растрескалась и распалась; всякие попытки склеить из нее ветхого божка только обнаруживают жалкие противоречия мертворожденной мысли.

Ответ подлинной, вселенской правды всему этому заблудшемуся исканию огненного слова резюмируется, действительно, огненными и не человеком сказанными словами.

Что ищете живого с мертвыми!

Петр Струве

По поводу спора кн. Е. Н. Трубецкого с Д. Д. Муретовым

Мне непонятно, почему кн. Е. Н. Трубецкой так ополчился на Д. Д. Муретова. В статье Муретова весьма талантливо, с почти юношеским пылом и с некоторым полемическим задором (который, замечу в скобках, в моих глазах гораздо более извинителен у писателей молодых, только еще испытывающих свои силы, чем у писателей, много рубившихся в литературных сечах) развивается одна, по моему глубокому убеждению, непререкаемая, но часто забываемая мысль. Любовь к своему народу и государству есть могущественная стихия иррационального или даже сверхразумного порядка, стихия, могущая приходить в столкновение с велениями индивидуального разума и индивидуальной морали и тем самым порождать в душах величайшие конфликты чисто трагического напряжения. Мы живем скоро уже два года в состоянии войны, которая на каждом шагу творит и ставит такие конфликты. Ибо вообще война не может быть охвачена и прията помощью каких-либо рациональных и в том числе «моральных» оправданий.

Д. Д. Муретов иррациональный характер преданности, или любви, к своему народу характеризует как политический эрос и в понимании и оправдании этой любви — пристрастия видит сущность национализма как философского учения. Это — превосходная формула, ярко характеризующая неистребимое душевное существо национализма и решительно вскрывающая его опасности. Да, эти опасности существуют, и их не следует забывать и затушевывать. Но опасности, присущие национализму, не суть опасности какой-либо доктрины или пропаганды, а опасности, неотвратимо связанные с могущественными стихиями человеческой жизни — народностью и государственностью. И тут возникает та задача, о которой я говорил по поводу первой статьи Д. Д. Муретова: блюдение себя, проникновение эроса этосом. Дело тут идет вовсе не о подчинении эроса этосу, ибо такое подчинение невозможно, а если бы и было возможно, то означало бы калечение и коверканье, а именно взаимопроникновение двух равноправных стихий.

В этом вопросе, по-видимому, наибольшее разногласие между кн. Е. Н. Трубецким и мною. Он, по-видимому, полагает, что исторические задачи и пути народов подчиняются или должны подчиняться какому-то распознаваемому для индивидуального разума абсолютному нравственному закону, который мыслится им, насколько я могу судить, подобием категорического императива Канта. Я этого взгляда разделить не могу. Исторические задачи и пути народов и государств не могут быть рассматриваемы с точки зрения хотя бы и самых возвышенных начал индивидуального поведения. Признавать это — не значит впадать в аморализм, а лишь утверждать, что в лице народов и государств мы имеем перед собой исторических субъектов, не соизмеримых с индивидуальными субъектами. Я убежден, что, поскольку тут может быть речь о суде, действия этих сверхиндивидуальных субъектов подлежат непосредственно суду религиозного

сознания. Я знаю, что эта точка зрения представляет свои серьезные опасности и соблазны, что она поддается грубо-материалистическому истолкованию, вернее — извращению. Но, тем не менее, вне ее невозможно ни понимание, ни оправдание таких явлений, как война.

И тут опять выступает в полной ясности значение того, что Муретов назвал политическим эросом. Через эту стихию эроса, любви к своему народу и государству, с нами говорит не животная страсть, — до нас доходит высший голос, приказывающий нам безропотно приносить величайшие жертвы, бессмысленные и нетерпимые с точки зрения индивидуального разума. Здесь в индивидуальную совесть проникают лучи какого-то нового и иного света, ее преображающие. В национализме, таким образом, заключена не та простая проблема морали, которую Вл. Соловьев полемически и рационалистически отбросил своей эффектной формулой «зоологического национализма», а гораздо более глубокая метафизическая и религиозная проблема. Совершенно ясно, что если исторические судьбы и пути народов подлежат вообще какой-либо оценке, то критерием этой оценки не может служить формула какого-либо нравственного закона. Что можно сказать, например, о Петре Великом, подходя к нему с аршином категорического императива? С этой точки зрения процесс создания всякого великого государства есть цепь предосудительных происшествий и даже преступлений. Исторические судьбы народов и государств несоизмеримы с индивидуальной моралью — и в этом непререкаемом отсутствии общего мерила коренятся те жесточайшие конфликты, которые в эпохи великих исторических кризисов переживает всякая личность с сколько-нибудь тонкой душевной организацией. Ибо такая личность не может легко, без борьбы пренебречь теми нравственными началами, на которых зиждется жизнь всякой личности в нормальных условиях, и она не может в то же время не испытывать на себе действия этой сверхиндивидуальной стихии на-

родности и государственности, которая в такие эпохи говорит с личностью огненными словами и огненными языками[1].

[1] В свои размышления на тему спора между Д. Д. Муретовым и кн. Е. Н. Трубецким я не хочу вносить полемической ноты. Отмечу лишь, что проявлением какого-то довольно беспомощного национализма представляется мне цитируемое в посрамление национализма кн. Е. Н. Трубецким глубокомысленное замечание его корреспондента о том, что недаром на русском языке не существует своего слова для понятия «национализм». Странно, что автору этого замечания не пришло в голову то простое соображение, что слова «национализм» не существует также и на немецком языке, как не существует ни на русском, ни на немецком языках своих слов для понятий: «рационализм», «идеализм», «социализм» и множества других, в которых самобытно-русски (а также самобытно-немецки) не воспроизводима не основа (ее очень легко перевести), а суффикс в его специфическом значении и окраске. Недаром новейшее время одарило нас даже такими русскими словами, как «большевизм», «меньшевизм» и т. п. Если корреспондент кн. Е. Н. Трубецкого хочет заняться глубокомысленным истолкованием этимологических данных, то я бы ему предложил в качестве исторически гораздо более поучительного и даже более эффектного материала любопытное утверждение современных филологов, что слово «кабак» вовсе не татарского, как думали прежде, а германского, в частности, нижне-немецкого происхождения.

Николай Бердяев

К спору между кн. Е. Н. Трубецким и Д. Д. Муретовым

Принципиально интересный спор кн. Е. Н Трубецкого и Д. Д. Муретова, к сожалению, был затемнен полемическими элементами, которые никогда не способствуют выяснению вопросов. Желание опрокинуть своего противника порождает мелочные придирки, создает совсем особенную, фиктивную жизнь идей и оттесняет на второй план реальную, существенную жизнь идей. И выдвинутая в споре проблема слишком часто тонет в полемической стихии, засасывающей и подчиняющей своему закону. Совсем не важными представляются мне мелочные стороны полемики кн. Трубецкого и Д. Муретова. Очень несущественно, удалось ли одному уличить в противоречиях другого. Перед значительностью поставленной проблемы досадно ненужными кажутся полемические рассуждения о том, кому кн. Е. Трубецкой ставил свои вопросы и делал возражения, Д. Д. Муретову или П. Б. Струве. Важно и существенно лишь то, что произошло столкновение идей и что в столкновении этом поставлена важная проблема. Очень всегда бывает неинтересно, когда столкновение идей объясняют исключительно взаимным непониманием

или недоразумением. И очень интересно, когда противоположность идей и точек зрения на жизнь доводится до кристаллической ясности. Идейное разногласие между кн. Е. Н. Трубецким и Д. Д. Муретовым определяется совсем не тем, что один из них логически более последователен, а другой логически менее последователен. Думать, что логической последовательностью можно принудить к изменению основных жизненных оценок, значит впадать в рационализм, забывающий свои границы. Мне кажется, что кн. Е. Н. Трубецкой в методе полемики грешит такого рода рационализмом. Но не свободен от него и Д. Д. Муретов, слишком злоупотребляющий формально-логическими аргументами и слишком много надежд на них возлагающий. В этих взаимных формальных уличениях притупляется острота проблем. Спорящие стороны недостаточно погружаются в предмет. Более остро удалось поставить вопрос П. Б. Струве. Я со своей стороны не предполагаю полемизировать, я бы хотел только обострить принципиальную сторону спора и подчеркнуть такие стороны идейной проблемы, которые, мне кажется, не были достаточно подчеркнуты.

В споре подымается в высшей степени важная философская и в конце концов религиозная проблема: применимы ли чисто моральные оценки к истории, к борьбе наций и государств, и могут ли быть перенесены оценки жизни индивидуальной на историческую жизнь народов. П. Б. Струве прав, говоря, что Вл. Соловьев упростил эту проблему и тем впал в морализм и рационализм. Крайним морализмом грешит и точка зрения кн. Е. Н. Трубецкого. Это совершенно ясно видно на том, что любовь между мужчиной и женщиной он считает явлением морального порядка и находит возможность подчинить моральной оценке и моральному закону. Непонятно, почему кн. Е. Трубецкой с таким негодованием отнесся к статье Д. Муретова о национальном эросе, написанной с большим темпераментом. Я думаю, что Д. Д. Муретов тысячу

раз прав, признавая природу всякого эроса, всякой эротической любви, стоящей вне добра и зла, вне моральной оценки, подлежащей своим собственным оценкам, совершенно автономной сферой человеческой жизни. Из этого не следует, конечно, что, например, в отношениях мужчины и женщины, связанных между собой эросом, не может возникать вопросов морального порядка, требующих моральной оценки. Но моральные вопросы могут тут возникать лишь как вопросы отношения человека к человеку. Сама же сфера любви остается вне моральной оценки, к ней в несоизмеримо большей степени применимы критерии эстетические, чем моральные. Любящие могут в разных отношениях совершать безнравственные поступки, напр., из любви к женщине можно брать взятки и красть. Но сама любовь не может быть ни нравственной, ни безнравственной, она — самозаконна и самоценна, она не терпит над собой никакой нормы. Любовь всегда божественно-свободна. Можно еще сказать, что любовь прекрасна, но неуместно было бы сказать, что любовь моральна. Кн. Е. Н. Трубецкой, по-видимому, слишком кантианец в моральной философии, слишком разделяет абсолютный морализм Канта и потому считает формальный категорический императив применимым ко всему, ко всей полноте жизни. Получается даже впечатление, что он вносит в христианство абсолютный морализм. Но такого абсолютного морализма в христианстве нет. Христианство не есть религия закона, но по существу не нормативная религия. Поскольку в христианстве есть закон, он целиком взят из Ветхого Завета и является лишь его подтверждением. Специфически новозаветное откровение есть откровение благодати, любви и свободы, а не закона и нормы. Евангельская мораль — мораль любви, а не мораль закона, в ней нельзя было бы открыть следов категорического императива, в ней нет этого формально-моралистического пафоса. В Евангелии суббота для человека, а не человек для субботы. Абсолютный мо-

рализм, пафос нравственного закона есть у Канта, у Толстого, но не в Евангелии, не в христианской мистике.

Я думаю, что прежде всего следует сделать проблематической абсолютную мораль, — притязания формальной общеприменимости и общеобязательности нравственного закона. В споре кн. Е. Н. Трубецкого и Д. Д. Муретова формальный моральный абсолютизм предполагался слишком уж несомненным и неизбежным. Его, по-видимому, разделяет и Д. Муретов и потому остается не защищенным от формальных нападений кн. Е. Трубецкого. Ниоткуда не следует, что можно провести знак равенства между религиозным абсолютизмом и абсолютизмом моральным. Абсолютизм должен быть в сфере религиозной, так как она обнимает собой всю полноту ценностей. Мораль — большая ценность в человеческой жизни, но это лишь одна из ценностей в сложной иерархии ценностей, она не может претендовать на абсолютное и всеобщее значение, она должна признать сосуществование других ценностей, не меньших по своему значению, и может вступать с ними в трагические конфликты. Трагизм человеческой жизни всегда представлялся мне не в образе сравнительно простого и элементарного столкновения нравственного с безнравственным, доброго со злым, а в образе более сложного столкновения ценностей разных градаций, одинаково претендующих на положительное значение, одинаково обращенных к жизни божественной. Человеческая душа бывает ареной трагического столкновения ценности добра с ценностью красоты или ценностью познания. К этому типу принадлежит жизненная трагедия Ботичелли или Гоголя. Нельзя представить себе сожительства и сосуществования ценностей разных порядков в душе человека и в душе человечества слишком гладко-монистически, слишком оптимистически. В выборе ценностей есть свободный произвол. Любовь к отечеству можно предпочесть любви к личному нравственному совершенствованию. Слишком часто люди из рвения морального, из преданно-

сти абсолютной правде истребляют целый ряд ценностей и богатств бытия. Возможен даже демонический морализм. Этот уклон есть, например, в толстовстве. Трагедия русской интеллигенции — прежде всего в конфликте разнородных ценностей, а не в конфликте добра и зла. Ее воля избрала исключительно ценность морально-общественную, и от этого не могли не пострадать ценность познания, ценность красоты и такая ценность исторической жизни, как национальность. В земной человеческой жизни нет предустановленной гармонии ценностей, она полна трагических конфликтов совсем не морального порядка. Абсолютная гармония ценностей есть лишь в глубине абсолютной божественной жизни. Но возможно, что трагический конфликт есть и в самой божественной жизни и что им порожден весь мировой процесс с его болью. Кн. Е. Н. Трубецкому трагедия жизни представляется прежде всего как конфликт морального с аморальным, как неисполнение абсолютного нравственного закона. Вряд ли он признает, что и исключительное исполнение нравственного закона может привести к великой трагедии, к измене некоторым высшим ценностям. Это лучше всего иллюстрируется на примере отношения к войне. Моральная проблема для всякой личности есть всегда очень сложная и очень индивидуальная проблема, которая должна быть решена не формальным применением абсолютного, общеобязательного закона, а творческими самостоятельными усилиями. Войну нельзя морализовать, она всегда есть ужас, который трагически принимается нами во имя избранных нами и любимых нами ценностей.

Я не раз уже указывал в статьях своих, написанных за время войны, что русская мысль лишена органа для оценки исторической жизни[1]. У нас всегда упро-

[1] Об этом писал я в статье «Война и кризис интеллигентского сознания» (Бирж. Ведом. за июль 1915 г.) и «О правде и справедливости в борьбе народов» (Утро России за апрель 1916 г.).

щенно применялись к исторической жизни отвлеченные оценки, или отвлеченно-социологические, или отвлеченно-моралистические, или отвлеченно-религиозные. Специфически исторических ценностей наша интеллигенция не признавала, и это объясняется, вероятно, тем, что она все еще не была призвана к конкретной исторической жизни и к конкретному историческому творчеству. Наши теократические религиозные построения были также внеисторичны, как и наши построения социологические, как и толстовское моральное учение. Мы всегда морализировали над историей, морализирование это скрыто даже в русском марксизме, по внешности аморальном. Самой последовательной формой морального абсолютизма, все богатство бытия, подчиняющего однообразному моральному закону, было учение Л. Толстого. И элементы толстовства, в сущности, были во всех наших направлениях. Исторической действительности как самостоятельной реальности мы не признавали. Своеобразные исторические ценности, несоизмеримые с ценностями жизни индивидуальной, были нам чужды, казались нам «ошибкой» западной истории, породившей столько зол. Война ставит нас вплотную перед самобытной исторической действительностью и самобытными историческими ценностями. Наша мысль начинает самостоятельно, творчески работать над новыми вопросами, поставленными жизнью. И мы не должны применять к бесконечно сложным историческим задачам, рождающимся в процессе жизни, слишком простых доктрин моральных, социологических или религиозных, мы должны творчески работать над совершенно новыми проблемами, не предусмотренными старыми учениями. Такова прежде всего проблема национальности. Я высоко ценю значение Вл. Соловьева и думаю, что его полемика против «зоологического национализма» имела большое значение, но нельзя доктринерски применять его точку зрения к совершенно новой исторической действительности. В христианстве нет ничего док-

тринерского, ни морально, ни метафизически. Христианство есть закваска новой жизни, семя, брошенное в души людей и в душу человечества, а не поставленная над нами абсолютная норма. Абсолютность христианской истины есть действующий в нас дух новой жизни, а не стоящий над нами непреложный закон. И совершенно невозможно прямолинейно и механически применять христианскую абсолютность к природной и исторической относительности. История есть манифестация абсолютного, но в самом историческом нельзя утверждать абсолютного как норму и закон. В истории никогда не было и никогда не будет абсолютной морали, но за историей скрыто действует абсолютный дух, из себя раскрывающий и творящий сложную градацию ценностей. Одна из этих ценностей — самобытная ценность национальности. Если и есть мораль исторического процесса, то это мораль, несоизмеримая с моралью индивидуальной. Историческая судьба предполагает трагический конфликт абсолютно-единого и относительно-множественного. Демонические силы действуют в истории, и они влекут народы к изживанию своей исторической судьбы до конца. Война не может быть христианской, христианским может быть лишь дух и царство духа.

Думается мне, что П. Струве и Д. Муретов слишком склонны абсолютизировать ценность государства, которая есть лишь одна из не самых высших ценностей. Абсолютизм государственный еще менее допустим, чем абсолютизм моральный. Ценность души человеческой стоит выше ценности царств и миров. Тактически я во многом расхожусь с П. Струве и Д. Муретовым в области национальной политики и в некоторых отношениях больше схожусь с кн. Е. Трубецким. Но я более схожусь с ним в признании сложной иерархии ценностей и в отрицании морализирования над историческим процессом. Стихийный порыв национального инстинкта должен быть оправдан и стать источником творчества. Морализирование над борьбой народов может превратиться в безнравственное самопревозноше-

ние, и более высокое нравственное сознание должно признать, что в историческом столкновении народов никогда не бывает так, что добро целиком на одной стороне, а зло — на другой. А это значит, что национальная борьба в истории не есть борьба за моральную справедливость, а есть борьба за повышение бытия, за творчество исторических ценностей.

Н. Устрялов

К вопросу о сущности «национализма»

Проблема «любви к отечеству и народной гордости» приобретает в наши дни особенную жизненную остроту. Когда *факт патриотизма* становится непосредственно несомненен, осязателен для каждого, естественно, что каждый мыслящий человек стремится так или иначе этот факт осознать, осмыслить, — выработать определенную *теорию патриотизма*. Что такое любовь к отечеству, где ее корни, в чем ее смысл? Каким образом ее познать и должно ли ее оправдать или осудить? Если она подлежит оправданию, то в какой форме и в каком отношении? *Как возможен истинный национализм?* — Так формулируется «критический» вопрос, на который современность требует ясного и отчетливого ответа.

В русской публицистике за самое последнее время проблему национализма чрезвычайно остро и ярко поставил г. Д. Муретов своими «этюдами о национализме»[1]. В апрельской книжке «Русской Мысли» помещена в высшей степени интересная полемика между автором этих «этюдов» и кн. Е. Н. Трубецким. Центр полемики — вопрос

[1] «Этюды о национализме». «Русская Мысль», 1916, кн. I.

о «развенчании национализма» и о смысле «борьбы за национальный эрос».

Точка зрения г. Муретова сводится к подчеркиванию изначальной иррациональности, внеразумности (или сверхразумности) любви к отечеству. Патриотизм есть факт, необъяснимый объективно-моральными качествами любимой родины. «Национальность, — пишет г. Муретов, — не говорит о моральном отношении, а именно о той любви, о которой ничего не говорит ни одна моральная заповедь». Национализм говорит, употребляя терминологию К. Н. Леонтьева, не о любви-страдании, а о любви-восхищении. Он говорит: не «ты должен любить свой народ», но просто «я люблю свою народность»[2].

Далее автор цитируемой статьи образно сопоставляет любовь к родине с половой любовью. И там, и здесь он видит Эроса, слепого, не нравственного и не безнравственного, не доброго и не злого; не богатого и не бедного, исступленного, *гениального*. «Когда объектом такой слепой, выше справедливости идущей любви делается не личность отдельного человека, но исторический народ, тогда возникает вид *политического исступления* — национализм»[32].

Это исступление плодотворно, как плодотворно всякое подлинно эротическое устремление. Ведь еще Платон учил, что Эрос — дух рождения, гений творчества. Великая любовь-восхищение, любовь-страсть рождает великие ценности. В этой творческой способности — весь ее смысл. И конечный вывод из такого понимания гласит:

«Национализм теоретический, т. е. философское учение национализма, может и должно состоять в оправдании этой любви-пристрастия, иначе говоря, оправдании Эроса в политике, как силы творческой, как того состояния, в которое впадает душа народа, когда, одержимая великим гением, она хочет рождать»[4].

[2] «Русская Мысль», 1916, кн. I, с. 65.

[3] Там же, с. 67.

[4] Там же, с. 67–68.

Концепция г. Муретова мне представляется заслуживающей серьезного внимания и живого интереса. Кажется, она правильно схватывает самое существо проблемы и намечает верный путь к ее разрешению.

В самом деле, прежде всего необходимо исходить из *факта* любви к родине. И значит нужно взять этот факт таким, какой он есть. Если угодно воспользоваться модным ныне философским термином, нужно произвести «феноменологический анализ» этого факта. Иначе непременно получится несообразность — или простое извращение самой природы вопроса и теоретически ложный ответ на него, либо добродетельное, но в данном случае совершенно излишнее провозглашение некоторых почтенных моральных трюизмов. Или то и другое вместе.

Ведь нельзя же отрицать, что величия и славы желаешь своей родине не в силу доводов рассудка («не победит ее рассудок мой»), не на основании зрелого размышления, а просто как-то непосредственно, по неоспоримо ясному предписанию «внутреннего чувства», ранее всяких соображений и рассуждений. И часто поэтому подобные рассуждения и соображения кажутся фальшивыми, натянутыми, искусственного подогнанными разглагольствованиями post factum[5]. Взять хотя бы конкретный пример. Признаюсь откровенно, я очень сомневаюсь в возможности дать ясный, бесспорный ответ *в рассудочных и этических категориях* на вопрос — почему мы теперь желаем победы России и поражения Германии, в силу каких объективно-обязательных соображений необходимы слава России и разгром

[5] Подобные разглагольствования обильно заполняли нашу «военную литературу», особенно в первый год войны. Чем только не старались возвысить себя и унизить врага! Рядом с авторами открыток и фельетонов, посвященных «Вильгельму Кровавому», выступили даже и «серьезные» публицисты, отпускавшие невероятно тяжеловесные остроты на тему о низменности и убожестве германской культуры, о «бескрылом» и тупом «мещанстве» ее духовных вождей...

Германии. Мне кажется, г. Муретов глубоко прав, утверждая, что в применении к великим, трагическим столкновениям народов, подобным переживаемой нами войне, «вопрос о правой и виноватой стороне становится комически неуместным»[6]. Исторические судьбы неисповедимы, а в смысле количества и качества духовных «потенций» наши враги едва ли беднее нас. Почему же все мы так страстно жаждем победы, так мечтаем и молим о ней? Почему каждая победная реляция штаба вызывает в душе такую радость, такое светлое торжество, а каждая неудача — такую грусть и тоску?.. Конечно, многочисленным и сильным доводам в пользу необходимости русской победы ученый и умный немец сумел бы противопоставить такое же количество таких же солидных (и таких же шатких) доводов в пользу необходимости победы немецкой. И все же заранее несомненно, что русский никогда не убедил бы немца, а немец — русского: «разумные» доводы здесь мало убедительны. Здесь иная область, не поддающаяся учету логического и морального сознания, не повинующаяся его указке. Здесь иное царство, своеобразное, многообразное, имеющее собственные законы...

Здесь — пламень, созидающий культуру, вносящий в мир новые ценности. Сама мораль обогащается этой великой любовью, даже сама логика оплодотворяется и совершенствуется ею. Ибо поистине она — неиссякаемый источник творчества, вечно свежий родник, вливающий животворящую силу во все сферы бытия.

Вера в родину покоится не на тех или других внешне очевидных, объективно явленных ее достоинствах. «Идея» нации не есть начало, раз навсегда зафиксированное и поддающееся точному определению. Напротив, она является как бы вечной задачей, процессом, постоянно созидающим самого себя. Как очень метко заметил в свое время П. Б. Струве, «формальная идея национального духа вы-

[6] «Русская Мысль», кн. VI, с. 12.

ражает бесконечный — с точки зрения отдельных личностей и поколений — процесс, содержание которого постоянно течет, в котором «сегодня» всегда спорит со «вчера» и «завтра», в котором все, как бы оно ни строилось основательно, столь же основательно разрушается и перестраивается»[7]. Да, национальный эрос — великая разрушительная и вместе с тем творческая сила, мощный стимул всемирно-исторического бытия и развития!

Однако было бы ошибочным утверждать, что одним лишь подобным указанием на культурно-зиждительную роль национального эроса разрешается *вся* проблема любви к отечеству и народной гордости. Разумеется, вопрос здесь гораздо сложнее и труднее. Пусть *факт* патриотизма лежит по ту сторону этики — *теория* патриотизма не может с нею не считаться. Пусть эрос сам по себе неразумен — оценке разума он все же подлежит. Как же совместить любовь — восхищение перед родиной с требованиями логики и нравственности? Или, может быть, такое совмещение по существу невозможно?

В этом отношении чрезвычайно поучительно открытое письмо кн. Е. Н. Трубецкого редактору «Русской Мысли», посвященное критике статьи Д. Муретова. Интересно также и ответное письмо последнего.

Кн. Трубецкой резко подчеркивает необходимость этической оценки, этического критерия при анализе чувства патриотизма. По его мнению, «утверждение такого национализма, который не есть «моральное отношение» к своему народу и к другим народам, есть по самому существу своему *принципиальное отрицание национальной совести*»[8]. Страсть должна подчиняться разуму, регулироваться нормами объективной справедливости. «Именно утверждение внеэтичности половой любви и национального чувства унижает и обесценивает как то, так и другое. Именно этот своеобразный эро-

[7] Петр Струве, «На разные темы», СПБ, 1902, с. 529.

[8] «Русская Мысль», 1916, кн. IV, с. 85.

тический аморализм, низводящий любовь к женщине и к родине до уровня слепой страсти, несовместим с тем духовным подъемом, который озаряет оба эти чувства высшим смыслом и делает их бесконечно дорогими»[9].

Мне кажется, что в этих замечаниях кн. Трубецкого нельзя видеть *опровержения* теории национального эроса. Ибо последняя вовсе не отрицает применимости этических категорий к чувству патриотизма. Она лишь полагает, что не этическими категориями означенное чувство конструируется. Г. Муретов, отстаивая свою концепцию, определенно заявляет: «я никогда не говорил, что эроса нельзя ценить с моральной точки зрения, применять к нему категорию доброго и дурного; как и все, что само не вытекает из закона, любовь — эрос может быть доброй или дурной через подчинение или неподчинение себя закону»[10]. Достаточно вспомнить, что и сам Платон в «Федре» делит любовь на «правую» и «левую»...

Важно, таким образом, не то, что любовь к родине, как и всякое другое чувство, может подлежать нравственному суду, а то, что эта любовь в своей интимнейшей сущности не вытекает из требований нравственного закона. Моральный императив бессилен предписать подобную любовь, она возникает совершенно независимо от него. Если бы какой-либо исследователь захотел познать и «адекватно» формулировать внутренний состав патриотического чувства, то он не мог бы этого сделать, пользуясь лишь категориями системы природы и системы этики. Потребовались бы какие-то другие, высшие категории.

Однако, не будучи опровержением теории национального эроса, полемическое выступление князя Е. П. Трубецкого плодотворно тем, что оно заставляет эту теорию углубить и продумать до конца даваемую ей трактовку национальной проблемы. Он ставит дальнейший критиче-

[9] Там же, с. 87.
[10] Там же, с. 92.

ский вопрос, которого не касался в своих этюдах г. Муретов, но который неизбежно должен встать, — вопрос о роли нравственных начал в области международных отношений. Здесь действительно возможны крупные трудности. Ибо нельзя отрицать, что нередко «любовь-пристрастие» к отечеству может предъявлять требования, противоречащие нормам отвлеченной этики. Как же тогда быть? Нужно ли порвать с «этикой» или, наоборот, следует подавить в себе непосредственный голос патриотического чувства? Или есть еще какой-либо выход, более удачный? Теория национализма не вправе отказываться от разрешения подобных затруднений. До тех пор, пока она их не разрешит, сомнения кн. Трубецкого естественны и уместны.

Кроме того, критика Е. Н. Трубецкого ценна еще и потому, что она приводит к убеждению в недостаточности понимания национального эроса как чего-то абсолютно иррационального, радикально чуждого какому бы то ни было умозрительному объяснению. В самом деле, ссылка на «иррациональность» анализируемого факта всегда является плохой рекомендацией для соответствующей теории. В сущности, это — ничто иное как замаскированный отказ от ожидаемого объяснения. Прибегать к такому отказу допустимо лишь в крайнем случае, который должен быть всегда достаточно обоснован.

Мне представляется истинным утверждение теории национального эроса, что любовь к родине ускользает от формул *рассудочно-логических* и *моральных*. Для них она действительно запредельна, «иррациональна». Но бывает, что иррациональное в одной плоскости оценок может стать рациональным, осознанным в другой плоскости, в другом «плане» норм, в области оценок высшего порядка. Так, например, многие «пробелы» логики заполняются этикой, ибо этическая система глубже проникает в материал познания, чем система природы. И если так, то путь исследования должен пройти через все системы возможных оценок и ценностей, чтобы найти наконец такие орудия, при по-

мощи которых можно было бы успешно объяснить данный факт.

И вот в заключение я позволю себе высказать одно предложение, которое, думается мне, допускает и систематическое обоснование: «родина» есть эстетическая категория. *Факт любви к отечеству, необъяснимый ни с точки зрения системы природы, ни с точки зрения системы этики, может быть умозрительно выведен при помощи категорий эстетического познания*. Недаром учил Платон, что «Эрос есть рождение *в красоте*»...

При таком понимании национальной проблемы вопрос об отношении патриотизма к нравственности превращается в более общий принципиально философский вопрос об отношении эстетического законодательства к этическому. И здесь, быть может, в результате исследования придется прийти к убеждению, что эстетическая система, являясь наивысшей в сфере человеческого познания, содержит в себе и одновременно преодолевает собою («снимает») принципы системы этической, подобно тому, как эта последняя диалектически вбирает в себя и одновременно отменяет принципы системы природы[11].

Красота конкретно осуществляет, но вместе с тем творчески дополняет, «исправляет» нормы отвлеченного Добра. Такое соотношение может иногда порождать некоторый разлад между всеобщим законом этики и конкретным императивом эстетического порядка. Однако «примат» в подобных случаях должен всегда принадлежать последнему, ибо начало Красоты выше и «окончательнее», нежели начало Добра.

Но, разумеется, развитие и обоснование этого ряда мыслей требует сложной работы, совершенно не входящей в план настоящего очерка.

[11] См. об этом интересные замечания у Б. Вышеславцева, «Этика Фихте», глава девятая. Глубочайшее значение эстетики в системе философии проводил и Вл. Соловьев.

Евгений Трубецкой

Государственная мистика и соблазн грядущего рабства. По поводу статей П. Б. Струве и Н. А. Бердяева

I.

С удовольствием принимаю вызов Н. А. Бердяева, который пытается «обострить принципиальную сторону спора» между мною и П. Б. Струве. Боюсь, однако, что в вопросе о способе ведения спора мы разойдемся. Н. А. Бердяев считает всякие указания на внутренние противоречия мысли противника мелочными и ненужными придирками. Я, напротив, думаю, что внутренние противоречия, притом противоречия не случайные, а *существенные* для данной мысли, служат ярким доказательством ее несостоятельности. Мысль, которая уничтожается собственными противоречиями, должна быть отброшена, как негодная.

С этой точки зрения представляется далеко не безынтересным отметить противоречия в точке зрения П. Б. Струве. С одной стороны, он настаивает на невозможности подчинить исторические пути народов и отношение личности к народу какому-то *категорическому* императиву: здесь, по его мнению, должен господствовать не нравственный закон, а политический *эрос,* не подчиненный какой-либо заповеди.

С другой стороны, незаметно для П. Б. Струве это неограниченное господство политического эроса незаметно пре-

вращается у него в веление всеобщее и безусловное по форме, т. е. в тот же категорический императив: «через эту стихию эроса, любви к своему народу и государству с нами говорит не животная страсть, — до нас доходит высший голос, приказывающий нам безропотно приносить величайшие жертвы, бессмысленные и нетерпимые с точки зрения индивидуального разума» (см. *Русская Мысль*, июнь 1916 г., «По поводу спора кн. Е. Н. Трубецкого с Д. Д. Муретовым», стр. 96).

Раз «высший голос» не считается ни с какими возражениями индивидуального разума и никаких «если» при этом не допускает, это значит, что он повелевает *безусловно* или *категорически*. Хотим мы или не хотим, мы *должны* принести родине «величайшую жертву»; кто поступит иначе, тот должен с этой точки зрения считаться негодяем или трусом.

Признание *категорических велений патриотического долга* в устах публициста, решительно отрицающего применимость категорического императива к области национальной жизни, звучит довольно странно. Но, может быть, мы имеем здесь лишь случайную непоследовательность П. Б. Струве? Однако тот факт, что ровно то же противоречие повторяется у другого отрицателя категорического императива — у Н. А. Бердяева, доказывает, что чьи-либо индивидуальные ошибки или личная непоследовательность тут ни при чем. Противоречие коренится в каком-то органическом пороке общей им мысли. У Н. А. Бердяева вследствие присущего ему импрессионизма противоречие проявляется еще более резко.

Ко всему кантовскому Н. А. Бердяев относится с той фантастической ненавистью, которая у нас в России присуща в наивысшей мере бывшим поклонникам Канта. Назвать «кантианцем» литературного противника в глазах Н. А. — значит тем самым его уничтожить.

В особенности Н. А. Бердяев не любит «категорического императива» Канта. По его мнению, мораль вообще «не может претендовать на абсолютное и всеобщее значение».

Если верить ему, то таково же и отношение к морали христианства, ибо оно знает только «мораль любви, а не мораль закона, в ней нельзя было бы открыть следов категорического императива»; мало того, по мнению Н. А. Бердяева христианство не дает никаких правил для поведения, никаких норм; ибо оно «не есть религия закона, оно по существу не нормативная религия».

Но если Н. А. Бердяев не любит «нравственный абсолютизм» категорического императива, то еще больше он ненавидит абсолютизм государственный. Поэтому, заподозрив П. Б. Струве в приверженности к этому виду абсолютизма, он забывает о своей ненависти к Канту и вдруг обращается к П. Б. с категорическим требованием — «Абсолютизм государственный еще менее допустим, чем абсолютизм моральный. *Ценность души человеческой стоит выше ценностей царств и миров*» (цит. статья, стр. 48, курсив мой). Я позволю себе спросить Н. А. Бердяева, чем последняя, подчеркнутая мною фраза отличается от известной кантовской формулы категорического императива, которая требует, чтобы во всех наших действиях человек был для нас всегда целью и никогда только средством? Едва ли можно усмотреть тут какое-либо существенное отличие *в содержании*. Но, может быть, тут есть отличие *по форме*? Может быть, Н. А. Бердяев полагает, что «ценность души» человеческой — лишь условное положение морали, которое «не может претендовать на абсолютное и всеобщее значение»? Но тогда какой смысл имеет его протест против государственного абсолютизма П. Б. Струве? Во имя чего требовать от государства уважения к ценности человеческой души, если эта ценность не безусловна?

Я повторяю, мы имеем здесь дело вовсе не со случайной непоследовательностью Н. А. Бердяева. Ценность души для него — *безусловная ценность* религии. Он вообще хочет стоять на религиозной точке зрения. А всякая религия, как таковая, стремится к всецелому, неограниченному господству над человеком, хочет быть для него безусловной ценностью, а потому и дает ему безусловные, *категорические* предписа-

ния. «Возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим, всею душою твоею и всем разумением твоим»; «возлюби ближнего твоего, как самого себя». Что можно найти *условного* или *гипотетического* в этих двух заповедях? Можно ли себе представить веления более категорические?

Из страха что-либо уступить Канту Н. А. Бердяев утверждает, что любовь к ближнему в Евангелии — вовсе не закон и не норма. Это — «семя, брошенное в души людей». Но говорить так — значит просто игнорировать Евангелие. Там говорится о любви и как о семени, брошенном в души, и как о *заповеди*; станет ли Н. А. Бердяев отрицать, что заповедь есть норма?

Ясное дело, что, говоря о заповеди и о «семени», Евангелие имеет в виду два разных аспекта одного и того же. Семя — слово Божие, *не воспринятое* душою, проявляется в ней как *заповедь*, как *норма*; только будучи принято в душу, оно срастается с ней внутренно и тогда проявляется в ней *онтологически*, как живое растущее семя. Чтобы наше духовное отношение к Божественной любви стало онтологичным, мы должны существенно с ней соединиться; для внешних же, не утвердившихся в любви оно — только нормативно. Любовь — уже не норма для ангелов и людей, достигших высшей святости. Но для нас, грешных, еще могущих ненавидеть кантианцев и иных смертных — любовь пока только норма.

Все это противопоставление любви-семени любви-норме у Н. А. Бердяева — не более как результат неудачной рационализации, упрощающей сложное религиозно-этическое отношение. С ходячей, *житейской* точки зрения любовь — *или* онтологическое свойство, или норма: оно не может быть и тем и другим в одно и то же время. Если любовь — природное свойство, то как она может быть *велением* или нормой? Как можно *приказать* или *заставить* себя любить? Отсюда — ходячее, житейское убеждение, что любовь не может быть велением. И, однако, оно опровергается всяким сколько-нибудь углубленным религиозным опытом. Углубленное религиоз-

ное сознание ощущает отсутствие любви *как тяжкий грех*, в котором человек виновен и за которое он *ответственен*: отсутствие любви — первое, в чем религиозно-верующий христианин кается своему духовнику! Чем это объясняется? Очевидно тем, что религиозное сознание чем-то отличает любовь от таких природных даров, которые даются человеку помимо участия его воли. От меня не зависит, быть умным или глупым, красивым или безобразным. Иное дело — любовь! Это дар свыше, который ниспосылается *всем людям*; это — солнце, которое *всем* светит; никто не лишен *от природы* этого дара благодати, но всякий волен его принять или отвергнуть, открыть или не открыть ему свое сердце. Поэтому, если я не люблю, — *я виновен*, если в моем внутреннем мире темно и холодно, то ответственен и виноват именно я, затворивший мое сердце от действий идущего свыше солнечного луча. Вот почему религиозное сознание воспринимает любовь не только как семя, брошенное в души, но вместе и как веление или заповедь. Оттого и сказано в Евангелии: «заповедь новую даю вам, да любите друг друга». Если заповедь не будет исполняться, если не будет этого сдвига свободной человеческой воли, нужного для принятия «семени, брошенного в души», то семя не взойдет! Этот сдвиг и есть то, что *безусловно* требуется от человека Евангелием. Поэтому сказать, то в Евангелии нет норм, значит утверждать, что Евангелие никого и ни к чему не обязывает, то есть представляет людям «жить, как хочется, а не так, как Бог велит». Словом, любовь-норма и любовь-семя, брошенные в души, представляются исключающими друг друга противоположностями только с точки зрения житейски-рассудочного мышления. В углубленном религиозном сознании, наоборот, эти *противоположности объединяются*. Оттого и в Евангелии любовь понимается не как отрицание закона, а, наоборот, как высшее его утверждение: «на сих двух заповедях утверждается весь закон и пророки» (Матф., XXII, 40).

Разумеется, этот элемент *безусловной обязанности* не есть высшее в религии и в религиозной этике: обязанность

или закон в религии — момент, хотя и существенный, но все же подчиненный. Если мне приходится здесь так настаивать на его необходимости, это обусловливается вовсе не тем, что *для меня самого* категорический императив — на первом плане, а единственно тем, что этот с моей точки зрения необходимый элемент религиозного сознания отрицается моими противниками, в особенности Н. А. Бердяевым.

Впрочем, у этого последнего отрицание безусловности евангельских заповедей не доводится до конца. В конце концов и он вынужден утверждать как должное «абсолютизм религии»; но только, по его мнению, это — не абсолютизм моральный: «ни откуда не следует, что можно провести знак равенства между религиозным абсолютизмом и абсолютизмом моральным. Абсолютизм должен быть в сфере религиозной, так как она обнимает всю полноту ценностей» (46).

Н. А. Бердяев не замечает, что здесь он уступил мне ту самую позицию, из-за которой он со мой сражается. *Абсолютная* ценность религии, *полнота* ценностей в религии; ведь это и есть *категорический императив с религиозным содержанием!* Раз Н. А. Бердяев требует, чтобы этой высшей ценности подчинялась вся человеческая жизнь, он тем самым одним почерком пера зачеркивает все им написанное.

Не спасет Н. А. Бердяева и указание, что это — императив не моральный, а религиозный. С религиозной точки зрения противопоставление морального и религиозного совершенно неуместно; и, если Н. А. Бердяев признает какую-то отдельную от религии и ей постороннюю «мораль», это только лишний раз подчеркивает рассудочность его точки зрения, которая рассекает надвое то, что по существу едино и нераздельно. На самом деле для религиозного сознания нет и не может быть иных моральных велений, кроме велений *религиозных по содержанию*. Люби Бога, ближнего, как образ Божий, и всю тварь, до времени стенающую и страждущую, как *грядущую славу Божию*, словом, — люби Бога во всем и осущест-

вляй Его всей твоей жизнью, к этому с религиозно-христианской точки зрения сводится вся нравственность. С этой точки зрения я совершенно не понимаю упрека в «отвлеченном морализме», который делает мне мой критик. Я неоднократно подчеркивал, что вся моя точка зрения именно религиозная, а не моральная; и вся та «мораль», которую мог найти в моих статьях Н. А. Бердяев, сводилась единственно к требованию, чтобы единый Бог не заменялся какими-либо другими богами в виде нации, государства или «политического эроса». Если Н. А. Бердяев считает, что это требование не может претендовать на безусловное и всеобщее значение, то по какому праву он называет свою точку зрения религиозной?

С религиозной точки зрения нравственность — практический аспект религии и больше ничего; это религия, осуществляемая человеком во всех *делах* его свободы. При таком понимании нравственности (а с религиозной точки зрения иное невозможно) на нравственность всецело распространяется и тот *абсолютизм* религии, о котором говорит Н. А. Бердяев. Религия не исчерпывается нравственностью, и с этой точки зрения между нравственным и религиозным, разумеется, не может быть проводим знак равенства. Но зато, наоборот, содержание *нравственного* с религиозной точки зрения всецело исчерпывается религией, ибо нравственность — то живое дело, без которого вера мертва. И оттого-то основное моральное и религиозное веление — *«жить по-Божьи»*, изо всех возможных требований и велений — самое безусловное и категорическое.

Всякие попытки моих противников отрицать существование каких-либо безусловных велений или императивов наказываются жестокими противоречиями, потому что такие веления предполагаются всякой объективной иерархией ценностей и постольку не могут быть отрицаемы без внутренних противоречий всяким, кто признает какие-либо объективные ценности.

У моих противников эти противоречия выступают в особенности наглядно, потому что оба они хотят стоять на ре-

лигиозной точке зрения. Между тем *всякая* религия, какова бы она ни была, заключает в себе откровение *безусловной цели* жизни. Поэтому религия в *безусловной и категорической* форме обязывает нас осуществлять эту цель и для нее жертвовать всем остальным. Вот почему все попытки отрицать категорический императив с религиозной точки зрения обречены на явную и плачевную неудачу. Нельзя же в самом деле утверждать, что безусловное Добро есть Бог, и не считать безусловно обязательным для человека — осуществлять и воплощать это Добро в жизни.

В Евангелии Царствие Божие сравнивается с жемчужиной, ради которой купец продал все, что он имел. Вот ясное, образное выражение всех тех *безусловных велений*, которые вытекают из веры в ценность *безусловную*. Мы должны все отдавать для сохранения и приобретения нашей единой и единственной жемчужины. Отрицать безусловную обязательность этого требования — значит исповедовать полное практическое безбожие.

II.

Раз безусловная ценность и цель предполагается всей вообще человеческой жизнью, она предполагается и жизнью национальной и государственной. Интуитивное откровение этой ценности есть во всяком сколько-нибудь глубоком национальном чувстве. Если бы свой народ и свое государство не было для человека бесконечно дорогой ценностью, народов и государств вовсе бы не существовало. Тогда не было бы того самого, что *собирает* людей в народы и государства; не было бы того духовного подъема национального чувства, который заставляет нас всем жертвовать для родины, а без жертв со стороны личности ни народ, ни государство, как самостоятельное политические целое, существовать не могут.

Что же это за ценность? Представляет ли для меня мой народ и мое государство только чисто *субъективную ценность*, которая измеряется силой моего влечения к моему народу,

или же мой народ есть ценность *объективная*, которой я *должен* дорожить и для которой я *должен* жертвовать, каково бы ни было в действительности мое чувство к моему народу?

Я приглашаю моих противников ответить категорическим *да* или *нет* на этот вопрос, потому что прямой ответ на него имеет решающее значение для оценки их теории политического эроса. Впрочем, теория эта при всяком ответе терпит крушение. Если мой народ для меня — чисто субъективная ценность моего чувства, то ничего *объективно должного* по отношению к моему народу для меня нет и никаких жертв для него от меня требовать нельзя. Все зависит от силы моего чувства, точнее говоря, — от каприза моего индивидуального настроения. Хочу — жертвую собой для родины, а если не хочу, то жертвую родиной для моих интересов.

Сущность истинного патриотизма, очевидно, не такова: в своей расценке человеческих действий он или совершенно не принимает во внимание силы индивидуального чувства, или, во всяком случае, принимает во внимание не ее одну. Сила эроса индивидуального, личного может быть гораздо больше, нежели сила любви к родине, однако национальная этика властно от нас требует, чтобы в минуту опасности мы покидали наших жен и невест и шли защищать родину. На войне бывают минуты, когда животный инстинкт самосохранения говорит в человеке гораздо сильнее, нежели чувство любви к родине; и в эти минуты удерживает от бегства вовсе не капризный эрос, который то разгорается, то потухает, а сознание *подлости* малодушия и напоминание о долге присяги.

Из этого видно, насколько ошибается П. Б. Струве, когда он утверждает, что выражение «политический эрос» точно выражает сущность национального чувства. Если бы это было верно, то ни от кого нельзя было бы требовать не только каких-либо *дел* для родины, но и какого-либо чувства к ней, ибо эрос абсолютно свободен в выборе своего предмета. Требовать «эроса» к определенному народу или стране так же

бессмысленно, как требовать эроса к определенной женщине. Если человек, не любящий родину, представляется нам нравственным уродом, это значит, что самое чувство любви к родине — чувство иного порядка, а вовсе не «эрос». Родина нам мать, а вовсе не возлюбленная, ибо мы ее не избираем, а от нее рождаемся; и наше отношение к ней, если оно чуждо болезненных извращений, есть именно отношение *любящих сынов, а не любовников*; недаром на всех языках в мире родина именуется именно *матерью*. В этом выражается сознание того факта, что любовь к родине, в отличие от эроса, не могущего быть обязанностью, есть нечто *объективно должное* и притом *безусловно должное*.

В этом и заключается тайна противоречий П. Б. Струве, отрицающего применимость «категорических велений» к области национальной жизни и тут же утверждающего наличность категорических велений патриотического долга! Хочет он этого или не хочет, такие веления ему навязываются. Можно спорить о их содержании; но кто признает за своим народом и государством *объективную* ценность, тот не может отрицать, что такие веления *есть*.

Остается объяснить, каким образом веления долга патриотического могут приходить в столкновения с велениями этики индивидуальной. В чем — источник этих коллизий и в чем — их разрешение?

Мне кажется, что именно точка зрения моих противников делает эти коллизии совершенно необъяснимыми и непонятными.

По П. Б. Струве и Н. А. Бердяеву, мы имеем здесь столкновения с политическим эросом, т. е. с чем-то, что само по себе не имеет нравственного содержания и значения. Я *нравственно обязан* поступить так-то; но я люблю мою родину и *вопреки нравственной обязанности* поступаю как раз наоборот! Говоря словами Н. А. Бердяева, я просто-напросто произвольно выбираю между ценностями и отдаю предпочтение любви к отечеству перед любовью к личному нравственному совершенствованию.

Именно это чересчур упрощенное объяснение сложного этического отношения не объясняет в нем самого главного — *того мучительного вопроса совести*, который создается такими столкновениями. Если бы в данном случае имел место «свободный произвол в выборе ценностей», не было бы не только мучений совести, но и самого вопроса совести. Муки эти объясняются тем, что в случаях, о которых идет речь, мы имеем вовсе не столкновение совести с чем-либо другим, ей посторонним, а *мучительное раздвоение самой совести*.

Такое раздвоение было бы решительно невозможным, если бы одно из двух противоположных велений было бы нравственным, а другое — просто безнравственным. Тогда в совести просто-напросто не было бы никакого конфликта. Как бы ни было сильно мучение голода, которое я испытываю, потому что не хочу украсть хлеба, мучения эти не будут мучениями совести. Последняя в данном случае не испытывает ни малейшего разлада, а потому совершенно спокойна.

Совсем другое мы видим в столкновениях между этикой индивидуальной и этикой национальной. Весь трагизм *этого* столкновения происходит оттого, что оба противоположные веления исключают наш «свободный произвол в выборе ценностей»; оба претендуют на безусловную нравственную обязательность, *оба* облекаются в форму категорических императивов. Одно говорит — «не убий», а другое — «негодяй тот, кто откажется с оружием в руках защищать родину».

Если бы одна заповедь «не убий» требовала безусловно, а другая — требование защищать родину — налагала бы лишь условную обязанность, то ни о каком вопросе совести и ни о какой *коллизии* в совести не было бы речи, тогда условное предписание просто-напросто подчинилось бы безусловному. Вопрос тут так сложен и так мучителен именно потому, что перед судом совести сталкиваются два императива, противоположные по содержанию, но одина-

ково безусловные по форме[1]. Мы имеем здесь не конфликт «морального с аморальным», а глубокую нравственную *антиномию*[2], спор в пределах самой нравственности, *внутри самой совести*.

Если бы дело обстояло так, как его изображают мои противники, для совести тут просто не было бы никакой задачи. *Для менонита ее нет!* Возможно, что он чувствует влечение политического эроса не менее сильно, чем мы; но его совести эти влечения и искушения не касаются вовсе: она их отталкивает, как грех, и, в сознании своей безусловной нравственной правоты, проходит мимо. Требования эроса могут смутить или взволновать совесть лишь постольку, поскольку она чувствует или прямо признает в них некоторую нравственную правду. Только с этой минуты, с момента столкновения двух противоположных *нравственных требований*, начинается та трагедия совести, которая составляет предмет нашего спора. Ее с особой силой ощущает тот, кто *не находит* вполне удовлетворительного решения нравственной дилеммы. Как бы он ее ни решил, у него остается некоторый осадок в душе, который свидетельствует о том, что он достиг лишь добра относительного, а то Абсолютное, к которому он стремился, все еще остается для него потусторонним.

Но, с другой стороны, ни одно из двух решений не может быть признано и прямо безнравственным. Нас не удовле-

[1] Н. А. Бердяев приписывает мне диаметрально противоположную мысль: «Кн. Трубецкому трагедия жизни представляется прежде всего как конфликт морального с аморальным» и т. д., с. 49. В действительности такова точка зрения П. Б. Струве и Н. А. Бердяева, но отнюдь не моя.

[2] Н. А. Бердяев приписывает мне «христианство, не знающее антиномий» (*Р. М.*, июнь, с. 30). Это тем более странно, что его собственные рассуждения об антиномиях (с. 15–17) кое в чем повторяют мои замечания на книгу отца П. Флоренского, напечатанные в *Русской Мысли* тремя годами раньше (ср. мою статью «Свет Фаворский и преображение ума», § IV, V). Подобные полемические упрощения дают основание Н. А. Бердяеву говорить о простоте и немногосложности моей точки зрения.

творяет решение менонитов, и, однако, едва ли кто-нибудь решится произнести им нравственное осуждение; чистота их побуждений признается всеми теми законодательствами, которые заменяют им воинскую повинность повинностью «братьев милосердия». Нам понятно отвращение менонитов к войне; но, с другой стороны, как называть «грехом» великий подвиг воина, полагающего душу за родину?

Разобраться в этой антиномии и значит решить наш спор о применимости нравственных начал в жизни народов и государств.

Прежде всего очевидно, что столкновение между началами морали индивидуальной и национальной обусловлено главным образом, если не исключительно, тем, что народы организованы *в государства*, притом *во множество государств*, не объединенных никакой общей властью. Последнее обстоятельство, впрочем, только *обостряет* коллизию, но не служит ее главной причиной. Если бы когда-нибудь вместо этих многих раздельно существующих государств возникла единая всемирная федерация, поле столкновения значительно сузилось бы вследствие исчезновения войны; но основная коллизия между двумя этиками — этикой евангельского совершенства и той, которая лежит в основе жизни государства, — все же не была бы устранена.

Безо всякого сомнения, между этими двумя этиками существует глубокое принципиальное различие *в содержании:* одна предписывает не судиться и не противиться злому. Другая, напротив, противопоставляет злу внешнее насилие и внешний принудительный аппарат государственной организации. В чем же заключается разрешение этой коллизии и может ли она вообще получить разрешение, удовлетворяющее человеческую совесть?

Л. Н. Толстой пытался ее разрешить путем безусловного и категорического осуждения государства; здесь прежде всего необходимо отметить, что это *радикальное и анархическое* решение чуждо Христу и Евангелию. В другом месте мне уже пришлось отметить благосклонное, *прямо положительное* от-

ношение Евангелия к государству. «Положительный ответ на вопрос о дозволительности платить подати Кесарю, более того, прямое предписание «воздавать кесарево кесареви» указывает на нечто большее, чем терпимость по отношению к государству. Христос здесь вменяет в обязанность участвовать в заботах о его сохранении; рядом с этим своим отношением к мытарям Он показывает, что можно «сидеть у сбора пошлин» и тем не менее следовать за Спасителем (Матф., IX, 9). Воспрещал ли Христос верующим в Него воинское служение, хотя бы в языческом государстве? Ничего подобного Он не требовал от капернаумского сотника, у которого Он исцелил слугу. А между тем в этом сотнике Он признавал одного из лучших христиан: «истинно говорю вам, и в Израиле не нашел я такой веры» (Матф., VIII, 10). Есть в Евангелии место, где прямо говорится об обязанностях воинов: «никого не обижайте, не клевещите и довольствуйтесь своим жалованием» (Лук., III, 14). В контексте *проповеди покаяния* Иоанна Крестителя слова эти особенно знаменательны. Евангелие не говорит о том, что воины должны раскаяться в своем воинском звании, а между тем оно дает ответ на вопрос воинов о жизненном пути: «спрашивали его и воины, а нам что делать» (Лук., III, 14)[3]. Наконец, поразительной иллюстрацией положительного отношения Христа к государству являются его слова, обращенные к Пилату: «ты не имел бы надо мной никакой власти, если бы не было дано тебе свыше» (Иоанн, XIX, 11).

Было бы глубоко ошибочно думать, что Евангелие «не замечает» противоречия двух этик — той, которая выражается «новой заповедью» Христа, и той, в которой утверждается жизнь государственная: как раз наоборот, обе эти заповеди в Евангелии резко противополагаются одна другой. «Вы слышали, что сказано: око за око и зуб за зуб (Исх., 21, 24). А я говорю вам: не противься злому, а кто ударит тебя в правую щеку твою, обрати к нему и другую» (Матф., V, 38,

[3] См. мое соч. «Миросозерцание В. С. Соловьева», т. I, с. 580–581.

39). Вся пятая глава Евангелия Матфея полна подобных противопоставлений новой заповеди ветхому закону. И однако Христос не осуждает «закона», не признает его ложью, а тут же категорически утверждает: «не думайте, что я пришел нарушить закон или пророков, не нарушить пришел я, но исполнить» (Матф., V, 17). Закон противополагается благодати не как ложное истинному, а как низшее — высшему, как временная ступень — окончательному совершенству, причем самая необходимость этой временной ступени мотивируется «жестокосердием» людским, т. е. неспособностью человеческого рода сразу, без исторической подготовки вместить в себе истину евангельского совершенства.

Так объединяются в Евангелии противоположности, казалось бы, непримиримые. И объединяет их высшее начало любви, то самое, на котором утверждаются закон и пророки. Любовь дает человеку цель: он должен стать *сосудом любви* и, в качестве такового, должен стать выше внешнего подчинения закону, подняться над той областью, где царствует насилие. Но, пока люди не достигли этой высшей ступени совершенства, нельзя *во имя самой любви к человеку* оставить зло без внешнего обуздания. Вот почему одна и та же любовь сохраняет внешний принудительный аппарат государства и ставит как конечную цель его упразднение.

Евангелие смотрит на соотношение закона к благодати в *исторической перспективе*. Казалось бы, чего проще по-толстовски осудить всякое насилие государственного меча во имя «непротивления злому»! Почему же Христос этого не делает, а, наоборот, велит платить подати носителям этого меча? Потому что не упразднено одно необходимое условие действия закона в человеческом обществе — *человеческое жестокосердие*. Окончательная цель мирового процесса — не *внешнее* обуздание зла, а полное внутреннее его преодоление, совершенное *преображение* человеческой природы. В этом смысле и сказано — «не противься злому». Но огромное большинство людей этой заповеди не вмещает: при наличности зверя в человеке простое упразднение

внешнего принудительного закона и власти, его применяющей, было бы в свою очередь делом жестоким и противным любви: ибо это означало бы — превратить мир в зверинец и отдать человечество на растерзание. Конечная цель истории — царство благодати, а не внешнее царство закона. Но, пока человек не в силах изнутри, органически преодолеть в себе сатану, *сатана должен быть посажен на цепь*[4].

То состояние человечества, где зло сдержано хотя бы внешними материальными преградами, с христианской точки зрения бесконечно лучше, нежели то, где зло не сдержано решительно ничем. Как я сказал в другом месте, «кто хочет, чтобы жизнь человеческая когда-нибудь, хотя бы за пределами земного, претворилась в рай, тот должен благословлять ту силу, хотя бы и внешнюю, которая, по выражению Соловьева, *до времени* мешает миру превратиться в ад. Путь к царствию Божию таков, каким он некогда явился в сновидении Иакову: он — лестница, коей вершина — на небе, а основание — на земле. Тот ложный максимализм, который с мнимо-религиозной точки зрения отвергает низшие и посредствующие ступени во имя вершины, во имя христианского идеала, отрицает христианский путь: *это — максимализм не христианский, а беспутный*»[5].

[4] В этом смысле, вопреки ходячему пониманию, должна быть понимаема и заповедь «око за око, зуб за зуб»; она не предписывает насилия, а ограничивает его пределами справедливого возмездия. Смысл ее вовсе не в требовании, чтобы зуб был выбит, а в воспрещении, в возмездии за выбитый зуб выбивать их десять или отвечать на побои убийством.

[5] «Миросозерцание В. С. Соловьева», ч. I, с. 582. Н. А. Бердяев, призывающий меня не морализовать над историей, противопоставляет моему «антиисторическому взгляду» положительные исторические ценности и при этом забывает, что именно у меня три года тому назад он прочел приведенную здесь апологию исторической ценности государства в связи с осуждением отвлеченного морализма Толстого. Жаль только, что и тут Н. А. приходит к слишком простому решению: признание ценностей относительных, исторических отнюдь не влечет за собой их освобождения от подчинения единой абсолютной ценности.

Христу этот максимализм — по существу чужд, и этим объясняется несомненное различие тех требований, которые Он предъявляет к жизни личности и к жизни масс. Для массовой жизни он сохраняет и санкционирует внешний принудительный аппарат государства, по существу не вмещающий в себе евангельского совершенства; а к личности Он обращается с решительным требованием, чтобы она переросла государство, не противилась злому, не пользовалась судами и была совершено как сам Отец Небесный. Окончательной цели истории, ее высшей благодатной вершины уже теперь достигают святые и праведники. Но у преддверия царства благодати Христос утверждает *до времени* царство закона.

Анатомия закона и благодати таким образом в Божественной любви разрешена или снята; *в человеке же*, как он есть в истории, оба царства существуют, но еще не приведены к окончательному согласию. В человеке есть Бог, и постольку он принадлежит к царству благодати; но в нем есть не побежденный еще зверь, постольку он должен жить под законом, *извне* смиряющим и укрощающим его волю. В жизни человека сталкиваются *два разных плана бытия*, а соответственно с этим — два различных жизненных требования, два императива, оба безусловные и категорические по форме. Христианское религиозное решение антиномии заключается вовсе не в том, чтобы признать один из этих императивов истинным, а другой — ложным. Оно выражается *в утверждении жизненной и нравственной правды обоих.*

Так разрешается противоречие между законом, выражающим нравственную сущность государства, и благодатью евангельских заповедей совершенства. В этом разрешении заключается *оправдание государства*; за ним признается и утверждается определенная *нравственная* задача, а следовательно, постольку и задача религиозного служения. Оправдание заключается в том, что в некоторой строго определенной сфере государство нужно для целей безусловного Добра; само собою разумеется, что этим

не оправдываются те многочисленные безобразия государственной практики, которые представляют собой *отклонения государства* от его высшего назначения и служения. Та нравственная антиномия, коей разрешение было здесь намечено, есть столкновение *двух этик*, а не спор между совестью и бессовестностью: последний не заключает в себе никакой антиномии, ибо никакого *внутреннего* противоречия в совести им не создается.

Одна из важнейших ошибок моих противников заключается именно в том, что они смешивают в одно оба эти по существу различные спора, не отличают нравственной антиномии от конфликта морального с аморальным. Несовпадение начал индивидуальной, личной этики с этикой государственной не только может, но и должно быть признаваемо; вопреки тому, что приписывает мне П. Б. Струве, я никогда не утверждал противного и уже в моем сочинении о Соловьеве определенно указал существенные различия.

Но одно дело — признавать различия *по содержанию* государственной и индивидуальной этики, а другое дело — признавать государственную жизнь не подчиненною *какой-либо этике*. Одно дело — утверждать, что обязанности субъектов индивидуальных и сверхиндивидуальных различны *по существу*, а другое дело — отрицать *всякие* обязанности народов и государств, возводить в принцип неограниченный произвол национального и политического эроса, не подчиненного какой-либо высшей правде над ним.

III.

Нежелание моих противников признать логические последствия, вытекающие из их посылок, служат стимулом к развитию основного противоречия их мысли. В этом отношении типична попытка П. Б. Струве смягчить исповедываемый им государственный абсолютизм — религией. По его мнению, если вообще может быть какой-либо суд о действиях народов и государств, то «действия этих сверхиндивидуальных субъектов подлежат непосредствен-

но суду религиозного сознания» (с. 96). Но тут же этот высший суд обращается в ничто, ибо в человеке у него нет органа; самая совесть человеческая, по П. Б. Струве, не судить, а подчиняться стихии эроса, т. е. «любви к своему народу и государству». «Здесь в индивидуальную совесть проникают лучи какого-то нового и иного света, ее преобразующие» (цит. статья, с. 96). Раз самая совесть «преображается в стихию эроса», то какой же возможен суд религиозного сознания *над* этой стихией? Что могут значить при этих условиях уверения П. Б. Струве, будто эрос и этос — две «равноправные стихии», которые должны взаимно проникаться друг другом? Обе стремятся к неограниченному господству, к власти над человеком, а П. Б. Струве советует им помириться на призрачной и мнимой равноправности! Невольно вспоминается известная сцена из трилогии Толстого, где царь Федор Иоаннович думает прекратить непримиримую вражду Шуйского и Годунова предложением «поцеловаться» друг с другом.

Неудивительно, что такое решение вопроса приводит в смущение даже Н. А. Бердяева. «Думается мне, — говорит он, — что П. Струве и Д. Муретов слишком склонны абсолютизировать ценность государства, которая есть лишь одна из относительных и не самых высших ценностей». Поэтому Н. А. Бердяев напоминает своим единомышленникам о ценности человеческой души «превыше царств и миров».

Подписываюсь обеими руками: более того, я думаю, что эта форма категорического императива, которую, сам того не ведая, дает здесь Н. А. Бердяев, совершенно точно выражает сущность безусловных обязанностей государства и в частности — государства национального: *оно должно служить душе, а не господствовать над ней*, оно должно служить очеловечению, а не озверению. Но, раз Н. А. Бердяев начертал такой императив, что же остается от всей его статьи? Чему вообще он может сочувствовать в рассуждениях Д. Муретова и П. Струве? Ведь «политический эрос» в их понимании именно и требует этой всецелой жертвы

души и беззаветной отдачи своей совести народу и государству. Подчинение требуется *слепое*, ибо исторические пути народов для индивидуального разума «нераспознаваемы» (Струве, цит. статья, с. 96). Мы уже видели, что государственная мистика П. Б. Струве требует принесения государству таких жертв, которые с точки зрения индивидуального разума кажутся нетерпимыми и бессмысленными.

Мне много раз приходилось встречаться с точкой зрения — credo, quia absurdum — в применении к религии. Но, сколько мне известно, П. Б. Струве принадлежит честь первого применения ее к государству. Какое откровение «третьего завета» нашел в этом новом идолопоклонстве Н. А. Бердяев?

Снявши голову, по волосам не плачут. А потому признание Н. А. Бердяева, что он «тактически» во многом расходится с П. Струве, а «в области национальной политики и в некоторых отношениях» сходится со мной, производит впечатление чего-то совсем необдуманного. Ведь вся суть моих воззрений на национальную политику сводится к тому, что есть *сверхнародная правда над народами*, что у народов есть права, которые не должны быть попираемы другими народами, что нужно уважать духовную личность каждого данного народа, что народы не должны глотать живьем друг друга, как звери. С точки зрения П. Б. Струве, все это должно идти насмарку как мораль, неприменимая к «сверхиндивидуальным организмам». Чему же тут сочувствует Н. А. Бердяев? Или он тоже вместе со мной «морализует над историческим процессом»? Мой ему совет — не оставаться при двойственных *решениях*, а бесповоротно выбрать одно из двух. Или душа «превыше царств и миров», или Russland, Russland uber alles! Но пусть он не пытается совместить вселенскую правду религии с языческим народопоклонством!

Н. А. Бердяев советует мне не применять «доктринерски» устаревшей точки зрения Соловьева и принять во внимание условия «совершенно новой исторической действи-

тельности». Вопрос, должны или не должны народы подчиняться вечной правде религии, решается не историческим опытом и вне всякой зависимости от какой-либо временной исторической обстановки. Поэтому указания Н. А. Бердяева на «изменившиеся условия времени» представляются в устах религиозного философа по меньшей мере странными. Однако в другом отношении наблюдения над современностью действительно могут быть для нас в высокой степени поучительны. На примере современной Германии мы ясно видим, к чему приводит доведенная до конца государственная мистика «политического эроса».

Государственная необходимость, возведенная в безусловный принцип, действительно может оправдать самые невероятные, самые неприемлемые для индивидуальной совести жертвы. Приходится ради нее отказываться от *самой совести* и притом не только в области этики социальной! Наступают времена, когда едва ли не вся *индивидуальная* этика будет поставлена под знак вопроса, а то и вовсе пойдет насмарку ради государства. Ведь вся жизнь человека протекает в государстве, и государство есть единство многих индивидов. Поэтому между этикой индивидуальной и социальной существует постоянное жизненное соприкосновение и взаимодействие. Как может в индивидуальных отношениях царить любовь, когда вся жизнь социальная проникнута ненавистью. Любовь, которая не организует и не собирает людей в одно целое, — мертва и бессильна. Если духовно опустошается собирательная жизнь государственного целого, то неизбежно извращается и духовный облик человеческого индивида. Из повседневного опыта мы можем убедиться, что современное течение государственной жизни чревато величайшими искушениями для индивидуальной души.

Основное искушение заключается именно в тенденции современного государства утверждать себя как безусловную и высшую ценность. Мы знаем, к чему это ведет на практике. Возможно, что немцы и не добиваются мед-

ленной смерти наших военнопленных или приведения их в негодность для военной службы, как это можно предполагать по официальным данным нашей следственной комиссии, но ужас существующего положения заключается в *отсутствии* принципиальных к этому препятствий. Вопрос тут — не в принципах, а единственно в том, является ли данная мера для Германии целесообразным способом «предупредить опасность чрезмерного прироста мужского населения в России». Возможно, что пленные в Германии не служат живым материалом для дрессировки собак-ищеек; возможно, что голод не заставит немцев питаться мясом военнопленных; возможно, что вырванные у русских пленников зубы не заменят немцам искусственных зубов, как то предлагают «за недостатком и дороговизною материала» некоторые зубоврачебные съезды в Германии. Возможно, наконец, что Германия не будет вынуждена вследствие убыли мужского населения и в целях производства новых защитников родины (K-Kinder) ввести у себя многоженство или переустроить свой быт по образцу случных конюшен. Но, с точки зрения ходячего в Германии государственного жизнепонимания, все это — *только вопросы государственной необходимости, а не принципа.* В принципе признается, что государство имеет *право на все для него необходимое* и что индивидуальная совесть должна ради него решительно со всем мириться. Если это понадобится для возвеличения немецкого государства, — рухнет семья, осквернится святыня индивидуального эроса, будет разрешено и самое людоедство, которое ведь уже практиковалось в эпоху тридцатилетней войны.

Я пишу это вовсе не для того, чтобы порочить Германию. Все ее отличие от других — лишь в большей последовательности, в решимости довести до конца культ своего национального государства, а также — связанный с ним вульгарный макиавеллизм, распространенный и в других странах. Для меня гораздо важнее отметить опасность, которая надвигается и на нас. Это — опасность утраты человека и заме-

ны его зверем; ибо зверь, жестокий, беспощадный, чуждый сентиментальности и дрессированный на злобу, — во многих отношениях гораздо более пригодное орудие для государства, особенно для государства военного, нежели дряблый и изнеженный, культурный европеец, каким мы его до сих пор знали. Эта опасность духовного порабощения личности — неизмеримо страшнее и ужаснее всяких военных опасностей. Мы знаем, как и откуда она возникает.

Тот доведенный до конца государственный абсолютизм, который ужасает нас в Германии, есть прежде всего *абсолютизм военный;* он неотделим от лозунга «все для войны», ибо именно во имя этого лозунга немецкое государство требует для себя полного, неограниченного владычества не только над телами, но и *над душами,* над самой совестью личности. У нас это — пока только лозунг военного времени, до таких крайних последствий не доведенный и постольку в условиях настоящей мировой борьбы действительно вытекающий из долга перед родиной. Но в Германии, которая готовилась к войне сорок три года, это был уже издавна лозунг *мирного времени*. Мы видим в ней яркий образец страны, которая в течение десятилетий *жила для войны*, подчиняла ей всю свою жизнь и политическую, и промышленную, и духовную. Каждая немецкая фабрика приспособлялась к тому, чтобы стать в случае нужды филиальным отделением завода Круппа; всякая школа воспитывала и дрессировала для войны; весь государственный и общественный механизм строился на началах военной дисциплины; и, наконец, вся умственная жизнь была как бы подготовлением ко всеобщей духовной мобилизации. Отсюда то превосходство немецкой подготовки и техники, которое обнаружилось в начале этой войны. Отсюда же — и этот отталкивающий духовный склад, поразивший мир, — духовный склад народа, для которого война заслонила всякие другие цели существования, народа, поставившего государство превыше всех ценностей, поработившего ему человеческую душу, чтобы только победить.

Сущность этого духовного склада заключается в том, что государство перестает быть служебным орудием человека и становится для него Богом. И оттого-то это извращение всего духовного облика человека, это вырождение лучшего в худшее. Государство-бог требует себе всего человека, берет себе на службу его высшие *духовные* силы. Весь человеческий этос к его услугам, — и самое возвышенное благородство, и героическое мужество, и беспредельное самоотвержение. Все это есть в современной Германии, и оттого-то ее духовный облик не чужд величия. Но здесь-то, в этом величии, и кроется глубочайший соблазн. Высшие духовные силы отдаются в жертву не Богу, а идолу. Не будучи Богом, государство не поднимает человека на сверхчеловеческую высоту, а делает его орудием низших сил, опускает его в подчеловеческую низину. Что сулит оно ему взамен за вынутое из него сердце? Запасы сырья для его фабрик, новые рынки для сбыта его товаров и новые территории, — словом, отвоеванное у других новое жирное пастбище для человеческой скотины: вот ради чего он должен пожертвовать своим царственным достоинством и отдать себя в рабство биологическому закону, закону всеобщего взаимного истребления. Оно и понятно! Ведь этот закон «войны всех против всех», по меткому выражению Гоббеса, есть как бы естественное состояние разделенных и обособленных государств. Они всегда вооружены с головы до ног друг против друга, всегда «готовят войну», не зная иного средства — обеспечить себе выгодный мир. Но оттого и мир между ними не более как перемирие, скрытая, но беспрерывно назревающая война. Отсюда и те пониженные нравственные требования, которые к ним предъявляются. Мораль государств — *мораль войны,* всецело рассчитанная на необходимую самооборону; именно оттого она и разрешает то, что индивидуальной моралью воспрещается. И вот на наших глазах эта низшая мораль государства начинает вытеснять высшую, угрожает стать единственной нормой человеческого поведения впредь до окончательного

исчезновения всяких «неполитических норм», т.е. всякой морали. Правило — «человек человеку волк», — ныне определяющее отношение между народами и государствами, мало-помалу становится лозунгом всей современной культуры и подчиняет себе всю жизнь не только общественную, но и личную.

Я повторяю, здесь идет дело не о Германии, а об общей, всем угрожающей опасности.

Вполне естественно, что военные успехи Германии вызвали подражание со стороны ее противников. И в этом не было ничего худого, пока мы заимствовали у немцев их технику, их дисциплину и их организаторское искусство. Опасность начинается лишь с того момента, когда мы испытываем на себе действие *духовной заразы*, когда лозунг «все для войны» будет выражать собой уже не создание и накопление необходимых *средств* для победы, а высшую цель национальной жизни. Тогда начнется всеобщая, незаметная для них самих *пруссификация* народов. Тогда и у нас государственный абсолютизм начнет преображать человеческую совесть «новыми лучами».

Сказанное достаточно объясняет, почему мне стало жутко, когда я прочел у П. Б. Струве о желательности и необходимости преображения совести через «стихию эроса, любви к своему народу и государству». Жутко, потому что публицист, которого я считаю одним из самых чутких выразителей нашей общественной совести, не видит, не сознает того порабощения совести, которое он этим провозглашает и оправдывает. Боюсь, как бы такое ослепление не оказалось грозным предзнаменованием.

На мир надвигается эпоха величайшего соблазна. В начале настоящей войны еще можно было тешиться иллюзиями о том, что данная война будет последней. Но теперь стало очевидным, что она — только начало того всемирного грозового периода, когда новые грозы будут рождаться из испарений предыдущих гроз. Весь мир раскололся надвое, и никакими человеческими усилиями нам не заделать этой трещины. Уже

теперь, во время войны, обозначились два резко враждебных лагеря, на которые разделятся народы после войны. «Война после войны» уже стала ходячим лозунгом, и авторитетные выразители общественного мнения всех стран заранее высказывают решимость подчинить ей всю экономическую жизнь. Да как же им и не готовиться, когда обнаружилось, что самый мир народов на деле — лишь скрытая война, которая всякому неподготовленному грозит гибелью. И нет ничего нейтрального в этом мире-перемирье, ничего, что бы не было отравлено заранее грядущей войной. Промышленные успехи противника, рост его населения — все это грядущие боевые опасности. Его фабрики — потенциальные орудия смерти, его наука и умственное развитие — угроза нашего собственного истребления.

Мы должны готовиться к тому, что и у нас лозунг «все для войны» может стать лозунгом мирного времени. И готовиться к войне грядущей будут не «так себе, между прочим», как готовились к войне настоящей, ибо страх перед противником возрастет. Будут готовиться с напряжением всех сил, ибо к этому вынудит напряжение противника; и, в пределах самозащиты, эти заботы оправданны, вынужденны. Как, в самом деле, не быть готовыми встать на защиту всего, что дорого и свято! И тут-то нас и подстерегает величайшая опасность, опасность вырождения лучшего в худшее, опасность замены Бога живого идолом, требующим крови и человеческих жертв!

Не надо пугаться величайших жертв для своего народа и государства; но нужно помнить о непременном их условии, о *подчиненном значении* государства, и о том, что по сравнению с ним сам человек есть ценность высшая. Поэтому есть одна жертва, которую мы не должны приносить ему ни при каких условиях. Мы не должны порабощать ему нашу человеческую душу, мы не должны делать государство, хотя бы и «национальное» государство, — хозяином нашей совести. Все погибнет в мире, все его ценности будут обесценены, если человеческие души станут

как бы отточенными для взаимного истребления орудиями сверхиндивидуальных чудовищ-государств, и в мире воцарится уродливый облик *человека для войны*. Тогда наша земля превратится в ад, где народы будут пожирать друг друга без цели, без смысла: и чем меньше будет надежды на окончательное истребление одного народа другим, тем ожесточеннее будет грызня, ибо всякий будет движим страхом, как бы поверженный противник потом снова не встал на брань с окрепшими силами. Вдохновляемые национальным эросом, «великие Левиафаны» — государства будут бороться за мировое владычество, а люди будут им поклоняться и отдавать им себя в пищу. Как нам судить Левиафана, когда он должен диктовать закон нашей совести! Как сметь стеснять порывы эроса, который всегда «божественно прекрасен и свободен»! Хор публицистов, философов и «религиозных учителей» будет твердить на все лады — *«кто подобен зверю сему»*. А тем временем народы во имя эроса будут распаляться друг на друга, пока мир не превратится в подобие гигантского аквариума в момент кормления акул!

Если над любовью к своему народу нет высшего начала и высшей правды, то таков неизбежный конец; народы лишены возможности столковаться друг с другом. Тогда царство эроса — царство смерти, непрерывная, нескончаемая и всеобщая война. Если для нас «превыше всего» — Россия, а для немцев — Германия, и нет над нами общей всему миру *сверхнародной* святыни, то нет у нас и общего языка для взаимного понимания: есть только общий *биологический закон*, в силу которого большие рыбы поедают малых рыб. Итак, *давайте жрать друг друга*, пока слабейший не будет съеден.

Я далек от мысли назвать эту надвигающуюся грозу явлением «национализма зоологического». Я согласен, что эта соловьевская формула, почему-то навязанная мне моими противниками, уже не представляет собой точного выражения наблюдаемых нами современных явлений. Национализм в том виде, как он наблюдается, например, в современной Германии, есть явление высшего порядка; это

уже — не явление звериного начала в человеке: он заключает в себе несомненный, хотя еще покуда не осознанный уклон к *сатанизму*! Где во имя государственной необходимости сознательно попирается всякая святыня, где порабощение человеческой души возводится в систему и в принцип воспитания, там мы имеем уже начаток зла сверхчеловеческого, а не под-человеческого. Сказано — «что польза человеку, если весь мир приобретет, душу же свою погубит». И вот в современной нам действительности мы уже наблюдаем образец государства, которое систематически губит душу, чтобы сделать ее орудием завоевания мира. — С этой опасностью грядущего рабства далеко не в достаточной степени посчитались П. Б. Струве и Н. А. Бердяев. Я, разумеется, не обвиняю их ни в зоологизме, ни в сатанизме, но я боюсь, что они не разглядели беса и приняли его за ангела.

Они, видимо, не подозревают *темного* могущества тех сил, перед которыми они преклоняются. Мы уже видели, что П. Б. Струве признает наименование *«политический эрос»* точным выражением своего национализма, что именно в качестве *политического* эрос у него объявляется самодержавным, свободным от всяких обязательств. Здесь-то и кроется опасность этого национализма, ибо его формула подчиняет всю человеческую жизнь «политике» — то есть как раз той области, где господствует грубейший материализм и где величайшее зло рассматривается как что-то законное и нормальное. Политический эрос насквозь пропитан этим злом, принимающим гигантские, сверхчеловеческие размеры, и в это время публицисты, призванные выражать голос общественной совести, снимают с него всякую узду.

А «эрос» в наши дни и без того разнуздан; боюсь, что последствия этого разнуздания скажутся не в одной международной сфере. Раз эрос признается «божественно свободным», какое право мы имеем навязывать ему выбор предмета? Почему ему быть непременно национальным, а не классовым? Почему его предметом не может стать

в один прекрасный момент пролетариат, трудовое крестьянство или что-нибудь другое в этом роде? Ведь марксизм уже давно провозгласил, что есть только две нации — капиталисты и пролетарии, и что из этих двух пролетариат должен стать единственной. Кто не знает, что в дни обострения классовых антагонизмов эрос классовый усвояет себе целиком весь макиавеллизм эроса национального! Совершенно так же и он не признает над собой высшей правды и считает дозволенными все средства для своего торжества. Посмотрите, как растут эти классовые антагонизмы теперь, в дни всеобщего недоедания, бешеной спекуляции и дороговизны! Послушайте, что говорят в бесконечных хвостах у продовольственных лавок, и вы можете вынести впечатление, словно люди только и ждут окончания войны, чтобы, как звери, броситься друг на друга.

Если меня спросят, причем же тут национализм, и в чем его ответственность за безобразие и ужасы классовой борьбы, то я отвечу: именно он воспитывает массы в понятиях вульгарного макиавеллизма; именно он приучает людей к мысли, что человек не имеет самостоятельной цены, а ценен лишь как орудие и раб коллективного целого. Именно он ниспровергает всякие святыни над политикой. А человек стремится к цельности: он не может преклоняться в политике внутренней перед ценностями, которые ниспровергнуты в политике внешней. Для него психологически невозможно попирать образ Божий в человеке в одной жизненной сфере и уважать его в другой. Кто утверждает практическое безбожие в какой-либо одной области жизни, тот тем самым неизбежно подчиняет ему всю человеческую жизнь вообще.

Всеобщее, стихийное озверение — вот что на нас надвигается. В осатаневшем мире накипает злоба, и всемирная культура готова провалиться в бездну. В особенности для государства наступает критическая эпоха, и неизвестно, чему оно будет служить в будущем — добру или темным, злым силам. И как раз в это время государственная мисти-

ка П. Б. Струве объявляет доктринерством веру во вселенскую правду над народами!

Переживаемая нами эпоха крайнего обострения борьбы добра и зла есть потому самому эпоха глубочайших и тончайших соблазнов, ибо в такие времена бесы особенно часто облекаются в личину ангелов света. Для распознавания их теперь требуется исключительная осторожность, бдительность и то величайшее напряжение внимания, о котором напоминают слова: «блюдите убо, како опасно ходите». Ибо в нашем хаотическом мире самая грань между адом и раем не всегда непосредственно ощутима. Мы ходим над пропастью; а потому характерная черта современности заключается именно в том, что теперь самый высокий духовный подъем граничит с темной бездной глубочайшего падения.

Война как раз вызвала этот подъем. Быть может, никогда не было явлено в мире столько ненависти и никогда дело ненависти не осуществлялось с таким техническим совершенством, как теперь. Но, с другой стороны, мир давно не видел такого подъема любви и такого героического самопожертвования, которое теперь стало каждодневным явлением массовой жизни. И худшее, и лучшее теперь с особой силой сказывается в человеке. Усиление зла вызвало, как ответ, пробуждение высших духовных сил.

И вот как раз в момент этого пробуждения перед человеком ставится критический вопрос: *кому и чему* он посвятил эти высшие духовные силы, какому Богу он отдаст свое сердце. Вопрос этот теперь ставится не перед отдельными людьми только, но и перед целыми народами. И от того, как они его решат, зависит, сохранят ли они образ Божий, или же примут образ и начертание звериное.

Я уже достаточно говорил о том, которое из этих двух начертаний изображается в жизни народной, когда она всецело и беззаветно отдается «политическому эросу». Но политический эрос — вовсе не единственно возможный путь народов и вовсе не единственно возможное отношение че-

ловека к своему народу. Можно любить его иначе, сильнее, глубже, той любовью, которая не имеет ничего общего с «политическим эросом», потому что она бесконечно выше политики. Не политической любовью любили свой народ израильские пророки, которые призывали его быть народом Божиим и метали в него гром, когда он уклонялся в идолопоклонство. Не политической, а сверхполитической любовью любят свой народ и все те, которые созерцают над ним его образ Божий и хотят осуществления этого образа в его жизни и делах. Такая любовь ищет для своего народа не материального благополучия, не «счастья зеленого пастбища», а духовного прославления и просветления. И именно в политике она меньше всего находит себе удовлетворения, потому что в этой сравнительно низшей области духовной жизни божественный лик народа выражается сравнительно редко и слабо.

В политике все — хаос и раздор, все полно неразрешимых коллизий, все раздроблено и нет ничего цельного, ибо там человечество делится на враждующие между собой народы, а народы разорваны на враждующие между собой классы и партии. Там разорвана и самая душа народа, как и душа человека: она не в состоянии найти своего единства в борьбе противоположных стремлений. Тут самый опытный взгляд рискует ошибиться и принять за откровение божественного кощунственную на него пародию. Только на высших вершинах религиозного вдохновения открывается единство и целость народного духа. Там все едино и целостно — и народ, и человечество, и вся тварь поднебесная. В видениях наших духовидцев, нашедших себе художественное выражение в русской иконописи, все собрано в единый мирообъемлющий храм вокруг Христа и Богородицы. Там найдем мы и единый, целостный образ России. Ее нельзя оторвать от этого видения. С тех пор, как она приняла христианство, она не переставала сознавать и чувствовать себя нераздельной частью этого вселенского храмового целого. В худшие времена татарщины она не переставала

видеть этот храм, — в котором все объединены, и любовь изливается на всякое дыхание, — как конечную цель своего странствования. И, озаренные этим видением, ее подвижники и учители, ее святые, ее художники и философы находили слова любви для всех народов и для всей твари.

В этих словах и заключается ответ на искушения политического эроса. Он должен быть побежден тем высшим подъемом любви, который вызывает к себе одухотворенный, прославленный образ России и сросшееся с этим образом видение мирообъемлющего храма. Нам говорят — «любите прежде всего ваш народ». Хорошо, но у моего народа есть большая, чем сам он, жемчужина, которая составляет высшую ценность его жизни. Как же я буду любить его отдельно от этой жемчужины? Народ мой на высших ступенях своего религиозного творчества сознавал себя строителем и вместе — живым камнем великого и нерукотворенного строения, в котором для всякого народа, как и для всякой души живой, есть уготованная обитель, есть свой престол и венец. Неужели же отказаться от этого величайшего дела народного, от этой красы и смысла нашего народного творчества — значит показать любовь к народу? Или, быть может, мне скажут, что я должен оставить этот светлый религиозный идеал для частного, *домашнего* употребления, а в жизни общественной руководствоваться иными началами? Так могут рассуждать исповедники известного афоризма Religion ist Privatsache, ходячего среди немецкой социал-демократии. — Но сделать религию «частным делом» каждого значит просто ее уничтожить, ибо Бог *домашний* уже не есть Бог. Кто верит в Бога, тот хочет осуществлять его во всей жизни; но тогда наш жизненный идеал — не рассыпанная храмина, *а человечество, собранное в Боге*.

Предвижу ходячее возражение, что такой идеал бесконечно далек от политики и не может иметь к ней никакого применения. На это я отвечу, что *сверхполитическое не есть аполитическое*. Если религиозный идеал и религиозный смысл

жизни не может быть осуществлен средствами политики, то все-таки политика должна быть ему так или иначе подчинена. Она должна так или иначе к нему готовить. Если ей не под силу осуществить на земле *божеское царство*, это не значит, что она должна осуществлять в жизни людей *царство бесовское*. Она должна *по меньшей мере* противодействовать этому последнему. И тот политик, который отдает все свои силы разрешению этой доступной государству задачи, должен по справедливости и *по совести считаться* сотрудником той высшей силы, которая строит на небе и на земле нерукотворный дом Божий.

В великие минуты нашей истории перед Россией носится этот идеал мирообъемлющего храма, вдохновляя ее на великие подвиги и дела. В дни настоящей мировой войны мы видели его действие.

Мы начали ее в порыве святого воодушевления. И не слепая страсть владела нами; не одна только стихийная, естественная любовь к России нами руководила. Стихийно мы любим Россию всегда, в дни японской войны так же горячо, как и теперь; но тогда мы *болели о России*, потому что не верили в *правду* ее дела. Тогда не было того духовного подъема, который дается убеждением, что не своей корысти мы служим, а делаем дело великое, всему миру нужное. Любовь иногда заставляет краснеть за тех, кого любишь. Но, начиная нынешнюю войну, мы могли не краснеть за Россию, а гордиться ею. Борьба за правду, попранную в Бельгии и Сербии, за воскрешение распавшегося тела Польши, за общее освобождение славян, за общее политическое воскрешение национальностей — вот что нас тогда воодушевляло и окрыляло. Мы не забывали и о самой России, мы боролись *за ее целость,* и эта борьба была святым, великим делом. Но разве думать, что сохранить Россию нужно не для нее одной, *а для всего мира, для человечества,* — значит умалять это дело? Любим ли мы меньше свой народ, оттого что верим в его мировую миссию, в его служение всему человечеству? Нет, именно эта вера служит источником

нашей силы. Ради самой России нам нужно верить в нее как в защитницу малых и слабых, как в освободительницу порабощенных народов и *поборницу Божьей правды на земле*.

Пусть только эта вера не колеблется временными неудачами. Пока она в нас живет и нас одухотворяет, мы видим перед собой цель и смысл. Перед нами все то же чудесное виденье, которое воодушевляло наших предков на подвиги и создало величие России! У нас есть силы противостоять таящемуся в человечестве разрушению и хаосу. У нас есть то, во имя чего мы боремся и будем бороться против бесов мелких и крупных и даже против сатаны, грядущего им во след. — Но ослабеть и утратить веру — значит капитулировать перед надвигающимся на мир хаосом и остаться без всякого пути и смысла среди глубокого мрака, сгустившегося над Россией.

Пока жива Россия, этого не будет.

Петр Струве

Национальный эрос и идея государства. Ответ кн. Е. Н. Трубецкому

Кн. Е. Н. Трубецкой в своей статье ставит и по-своему, может быть, решает такое множество вопросов, что затронуть их в одном «ответе» мне представляется и нежелательным, и невозможным, тем более, что полемика вряд ли та форма, в которой такие вопросы могут быть освещаемы наилучшим образом. Поэтому я ограничусь в своем ответе лишь тем минимумом, который, с моей точки зрения, необходимо, в рамках нашего спора, противопоставить рассуждениям князя Е. Н. Трубецкого.

I.

Прежде всего — о внутреннем противоречии, в которое я впадаю, отрицая применимость категорического императива в этическом смысле к историческим столкновениям народов и к отношению личности к своему народу и государству, и утверждая в то же время, что политический или национальный эрос предъявляет личности безусловные веления, есть приказывающий нам «высший голос».

Указание это, которое кажется на первый взгляд убедительным, на самом деле представляет простое недоразу-

мение — и по существу, и формально-логически. Начну со второго. Из того, что «категорический императив» в этическом смысле есть безусловное веление, вовсе не следует, что не может быть других безусловных велений, весьма отличных, непохожих на категорический императив.

Категорический императив в этическом смысле безусловно предписывает нам известное отношение к человеку, безразлично, как мы к нему относимся по своему личному чувству. Это — обязанность, или долг, совершенно безличный. Наоборот, эрос, каково бы ни было его устремление, всегда есть отношение совершенно личного или индивидуального характера. Для категорического императива совершенно не нужно любви, влечения в подлинном смысле слова, и не нужно никакой приуроченности к лицу, никакой индивидуализации. Совсем иное дело — тот эрос, о котором заговорил — и, по моему убеждению, весьма метко — Д. Д. Муретов. Стройности и точности его мысли повредило проведение аналогии между эросом политическим, или национальным, и эросом в сексуальном смысле. Кн. Е. Н. Трубецкой правильно указывает, что отношение к своему народу и государству есть чувство скорее аналогичное отношению сына к матери. Замечу, однако, что отношение человека к своей родине сложнее просто сыновства. Много лет назад я писал в другом месте:

«Мы живо любим нашу родину и наш народ. Мы не знаем и не хотим знать, почему и зачем, мы любим без цели, мы отдаемся этому то спокойному, то жгучему и бурном чувству без всякой задней мысли, как о том с неподражаемой силой и искренностью поведал великий поэт в своем чудесном стихотворении. Но мы чувствуем и знаем, как мы любим это дорогое нам, живое и в то же время несравнимое и несоизмеримое ни с чем живым, существо. Мы любим родину, как дитя любит мать. Прекрасное сравнение! Оно у всех на устах, всем сродни. Но родина нам не только мать. Она в такой же мере — наше дитя. Мы в сознательной и бессознательной жизни, духовно и морально, одно

поколение за другим творим и растим нашу родину. Своей кровью и мышцами мы питаем ее тело, своими стремлениями и помыслами мы напояем ее душу. Мы творим ее живую и вечно меняющуюся ткань. В разной мере, но все без исключения, мы повинны в этой творческой работе. Все это не пустая игра слов и не мистические бредни. В нашем отношении к родине сливаются две стихии — созидающая и дающая, охраняющая и воспринимающая, пророчество и воспоминание.

«Мать — дитя! В этом символе разгадка мучительно-искренних споров о том, что любить в родине: действительность настоящего дня или мечту о завтрашнем, спокойствие существующего или бурю и натиск идущего ему на смену будущего. Мать держит нас в руках, дает нам приказания, дитя слушается нас и во всяком случае, хочет оно того или не хочет, живет и растет под нашим влиянием. Как же любить это двойственное и в то же время это единое существо? Как удовлетворить и мать, и дитя?»[1]

Но из такого понимания связи человека с породившей его и творимой им родиной вовсе не вытекает, чтобы эта связь не основывалась на своеобразном эросе, т. е. на совершенно личном и интимном отношении[2]. Наоборот, именно эта

[1] Статья «В чем же истинный национализм?» в сборнике «На разные темы» (СПб., 1902 г.), с. 528–529.

[2] Известная деятельница революции В. Н. Фигнер в психологически чрезвычайно интересных воспоминаниях о послешлиссельбургских днях своей жизни (Русские Записки, декабрь 1916 г., с. 56), описывая то одиночество, которое она испытывала в ссылке на крайнем севере, рассказывает следующее переживание, весьма интересное именно в этом отношении: «Мне не к кому было пойти: ни одного товарища, ни одного — равного мне! Нечем было развлечься, кроме разговора с маленьким нищим, которого мать посылала для прокормления собирать милостыню. Каждое утро этот пятилетний крошка стучался в мою дверь, и я угощала его чаем с булкой. С достоинством говорил он, что «кормит свою мать», и однажды поразил меня ответом на вопрос: зачем ему мать? Задавая этот вопрос, я соблазняла мальчика, уговаривая остаться у меня навсегда. «Разве тебе

аналогия, к тому же вовсе не случайная, а связанная с самим существом национального и государственного начала, генетически являющегося расширением сыновства или родства, характеризует отношение к нации и государству, как эрос. Та обязанность сыновнего почтения к матери, которая признается нами как нечто «безусловно должное», есть лишь безличное этическое отражение в сознании совершенно иного, чисто личного, интимного отношения, не могущего быть предписываемым и ощущаемого нами не как обязанность, а как любовь или влечение. Здесь различие вовсе не в том, что одно веление — категорический императив, носит объективный характер, а другое, исходящее от любви, эроса, имеет характер субъективный. Ибо всякой подлинный эрос, даже настоящий сексуальный эрос, всегда восходит к некой объективной силе и имеет объективное значение. Различие тут заключается в том, что обязанность морального свойства (или категорический императив в этическом смысле слова) безлична, относится ко всякому субъекту, носящему человеческое обличье, а эрос, т. е. любовь или влечение, есть индивидуальное или индивидуализированное отношение, живое, живущее и живящее. Такое отношение не может быть до конца рационализировано и в нем дает себя знать высшая сила, слышится зов влекущий, говорящий иногда наперекор заповедям морали и внушениям разума. И потому этот зов может

нравится ходить по миру и собирать куски Христа ради?» — спрашивала я. Нет, ему не нравится. «Ну, вот будешь жить у меня, так не придется просить милостыню: у тебя все будет. Я сошью тебе красную рубашку и куплю сапожки». — «А как же мама?» — спрашивал ребенок. «Мама будет работать, и работа прокормит ее». — «Ты подумай только: вместо того, чтоб с сумой ходить, ты будешь жить в тепле, я буду учить тебя, потом отдам в школу. Оставайся-ка!» — «А как же мама?» — повторял Ваня. «Ну, что же мама! Зачем тебе мама?!» — сказала я.

Ребенок молчал, потом поднял голову и с улыбкой привел неотразимый аргумент:

— Зачем?! А мы вечером обнимемся, да и спим! — сказал он».

рождать столкновения и борения в нашей душе, более глубокие и более мучительные, чем простые конфликты различных нравственных обязанностей.

II.

Говоря о «политическом эросе», кн. Е. Н. Трубецкой его принижает в двояком смысле. А именно, следуя за случайной для мысли Д. Д. Муретова аналогией с половым чувством, аналогией, которую я вовсе не разделяю, мой оппонент сужает значение этой стихии любви и умаляет ее силу и достоинство. Напирая на определение «политический», он стремится к тому же. На это необходимо заметить, во-первых, что, конечно, любовь к своему народу и государству есть стихия не «эротическая» в вульгарном смысле. А засим такой эрос вовсе и не замыкается в узкие рамки того, что обычно называется политикой. Он относится ко всему культурно-национальному бытию народа как особой сверхиндивидуальной и в то же время отнюдь не безличной силы. При этом я не могу не высказаться по вопросу о ценности и значении государства. Конечно, обожествление эмпирического государства, а тем более обожествление каких-либо форм государственной власти, должно быть отвергаемо как пагубное идолопоклонство. Но государственная жизнь и жизнь в государстве не есть в то же время просто нечто техническое в человеческом существовании: в государстве есть, помимо социальной техники, нечто от божественного начала. Поэтому с углубленной религиозной точки зрения трактовать государство как чисто технический институт представляется мне столь же превратным, как и идолопоклонство перед эмпирическими формами и выражениями государственного начала. В любви к государству выражается не политический материализм, иначе макиавеллизм, а, наоборот, бескорыстное, преодолевающее заботу о личном благополучии религиозное отношение к сменяющему друг друга на земном поприще бесчисленному ряду человеческих поколений, почтение к предкам,

которых мы никогда не видели, и любовь к потомкам, которых мы никогда не увидим. Со всеми ними нас в государстве (а также в нации, которая всегда стремится к государственному оформлению) объединяет высшая религиозная связь, вне которой человек коснеет в сегодняшнем дне, живет без прошлого и без будущего, не в духовном общении и единении с близкими и дальними, а в физическом столплении и в физической же давке. Идея государства поэтому имеет такое же религиозное значение, как и известным образом понимаемая идея человечества. И в той, и в другой есть аспект божественно-космический. Сознание, что жизнь народа не замыкается «нашим веком», как думают те, кто живут по максиме: «на наш век хватит», сознание, что есть дорогие для всех нас национальные могилы и национальные колыбели, вносит в жизнь каждого отдельного человека истинное духовное благообразие. Оно связывает его с Высшим Началом и тем самым есть подлинный элемент религии. Этот религиозный, божественно-космический аспект государства не только не означает идолопоклонства перед эмпирическими формами и выражениями государственного начала, а, наоборот, его признание и приятие есть лучшее противоядие против такого идолопоклонства. Нельзя также признать, что религиозное значение государства сводится к обузданию зверя в человеке, как, по-видимому, думает кн. Е. Н. Трубецкой (см. выше, с. 78). Государство имеет положительную миссию, являясь само по себе ценностью, как особый аспект сверхличного человеческого бытия.

Но я не могу согласиться, что противоречия между велениями национального или политического эроса и велениями нравственного закона есть противоречие внутри этики. Внутри совести, — да. Но тогда совесть, или, что то же, душа человека, имеет перед собой безличный нравственный закон (например: «не убий») и веление, вытекающее из бытия целого, сверхличного, но не безличного, а, наоборот, индивидуального (например: «иди войной на внешнего вра-

га»). Это веление не просто логически-технический вывод из факта существования государства, как необходимого аппарата обуздания зверя в человеке, ибо, когда человек идет на войну, он защищает не государство вообще, даже не лучшее государство, и вовсе не думает о государстве как об аппарате, только осуществляющем «цели безусловного Добра». Перед ним родина — милое существо и единство, ему дорогое, для него единственное. И отношение этого живого единства к «безусловному Добру» может вовсе не сознаваться человеком и в самом деле не может не быть скрыто от его разума. В рассуждениях кн. Е. П. Трубецкого мне чувствуется этический и религиозный рационализм, для которого все ясно в том, что именно пред лицом разума до конца спорно и смутно. «Вселенская правда религии» (выше у кн. Е. Н. Трубецкого, с. 79) оказывается поразительно совпадающей с идеалом космополитического рационализма. Я не склонен вовсе относиться с презрением к этому последнему идеалу; наоборот, я вижу в нем большую психологическую силу, которая способна приводить души и умы в движение. Но эта сила не та, которая движет такими великими столкновениями народов, как мировая война, и в них укрепляет народный дух.

III.

Последняя часть статьи кн. Е. Н. Трубецкого направлена против «тенденции современного государства утверждать себя как безусловную и высшую ценность» (с. 90), тенденции, которая представляет всеобщую опасность, вытекающую из доведенного до конца культа «национального государства».

В этих красноречивых обличениях грядущей «прусификации народов» переплетается так много мотивов, отчасти неявственно выступающих, что трудно уловить мотив основной, для которого все привходящие служат если не украшениями, то придатками. Поскольку автор обличает Германию и немцев, с ним, наверное, согласится огром-

ное большинство читателей. И мне возражать ему в этой области представляется ненужным, хотя я бы распределил иначе оттенки и ударения, чем делает кн. Трубецкой, если бы вообще ощущал призвание к словесной борьбе с противником и удовлетворение от нее.

Но мой оппонент сам подчеркивает, что по существу он говорит «не о Германии, а об общей всем угрожающей опасности», о надвигающейся на мир «эпохе величайшего соблазна» (с. 92). Я должен откровенно сказать: всего того, чего боится кн. Е. Н. Трубецкой, я не вижу и не ощущаю и рисующиеся ему соблазны и опасности считаю призрачными. Государственность в условиях войны действительно достигла величайшего напряжения, ибо только собранными силами можно вести такую титаническую борьбу. Это напряжение государственности есть абсолютная необходимость, без которой был бы немыслим самый факт величайшей в мировой истории войны. Но в поле, доступном моим наблюдениям, я не только не вижу абсолютного духовного подчинения человека государству и государственности, а скорее наблюдаю психологию обратную, — слишком внешнее отношение человека к своему государству, более чем недостаточное одухотворение личности государственной необходимостью, слишком пассивное ее отношение к великим историческим задачам момента. Об этом трудно писать в наше время типографской краски и цензуры; но для такого предмета, быть может, нужны именно «израильские пророки», ибо он вовсе не относится к области той низшей «политики», о которой говорил кн. Е. Н. Трубецкой. Вернее, тут открывается связь между политикой и религией, и тут государственный индифферентизм в конце концов восходит к моральной тупости и к слабости религиозного сознания, к забвению Бога и божественного миропорядка...

После войны, как реакцию тому огромному напряжению государственности, которое принесла война, я предвижу эпоху не духовного порабощения личности государ-

ству, а скорее наоборот — духовного бунта личности против государства, эпоху возрождения и углубления всякого, религиозного и безрелигиозного, анархизма. В связи с этими перспективами вырисовываются и задачи будущего. В их изображении необходимо учесть весь огромный подлинный психологический опыт этой войны, очищенный от всех преувеличений в ту или другую сторону. Но сейчас не наступило еще время для такой работы. Сейчас мы посреди суровых необходимостей войны и должны все усилия направить на то, чтобы из них выйти, победив силу врага и преодолев собственные недостатки и слабости.

ПРИМЕЧАНИЯ

1. Печатается по: По вехам... Сборник статей об интеллигенции и «национальном лице» / С предисловием Ф. Мускатблита. М., 1909.

Ф. Мускатблит. **Предисловие.**

Федор Генрихович Мускатблит (псевд.: Musca, 1878–?) — составитель сборника «По вехам...». Приобрел известность как составитель сборника отликов периодической печати на сборник «Вехи» — «В защиту интеллигенции» (М., 1909). К сборнику Мускатблитом приложен указатель источников «воспроизведенных» публикаций (здесь эти указания отнесены в примечаниях к каждому тексту) и указатель полемической литературы, не вошедшей в сборник. Приводим его здесь:

К. Арабажин. Письмо в редакцию // Новая Русь. № 64.

Евгений Чириков. Письмо к товарищам-литераторам // Новая Русь. № 65.

Шолом-Аш, Осип Дымов, К. Арабажин. Письмо в редакцию // Новая Русь. № 66.

Евгений Чириков. О национальном самоопределении // Новая Русь. № 74.
И. Жилкин. Капелька национализма // Слово. № 741.
Передовая статья // Наша Газета. № 60.
Передовая статья // Слово. № 739.
Передовая статья // Россия. № 1024
Передовая статья // Россия. № 1028.
Обзор печати // Слово. № 753.
Обзор печати // Слово. № 739.
Ф. Маловер // Правда Жизни. № 17.
Обзор печати. Реплика. Ф. Маловеру // Слово. № 736.
Д. Философов // Наша Газета. № 68.
Обзор печати // Слово. № 749.
Среди газет и журналов // Новое Время. № 11846,
Среди газет и журналов // Новое Время. № 11854.
А. Ст-ин // Новое Время. № 11853.
Среди газет и журналов // Новое Время. № 11853.
Д. Мережковский. Головка виснет // Речь. № 79
А. Вергежский. Оплевание // Слово. № 746.
М. Чириковский инцидент // Современное Слово. № 465.
Musca. Пела, пела пташечка // Раннее Утро. № 49.
Громобой. Творцы антисемитизма // Голос Москвы. № 60.
А. Булатович. Проклятый Иуда // Русское Знамя. № 59.
Седой. «Национальное лицо» г. Струве // Одесские новости. № 7765.
Передовая статья // Киевская Мысль. № 61.
Петр Струве. Русская Мысль. № 1.
Петр Струве. Русская Мысль. № 2.
Петр Струве. Русская Мысль. № 3.
Петр Струве. Русская Мысль. № 4.
Г. К. Градовский. Рецидив славянофильства // Образование. № 3.
Ник. Иорданский. Политическое обозрение. Новые Мнины-Пожарские // Современный Мир. № 4.

А. Погодин // Московский Еженедельник. № 1–15.
Е. Н. Трубецкой // Московский Еженедельник. № 1–15.
Ю. Бруцкус. Назойливая ассимиляция // Рассвет. № 13–14.

С. Вермель. Национальное лицо г. Струве, отталкиваемое национальным лицом Шолом-Аша // Еврейский Мир. № 4.
Р. Шпрингер. Национальная проблема. СПб., 1909.
Отто Бауэр. Национальный вопрос и социал-демократия. СПб., 1909.
М. Б. Ратнер. О национализме и территориальной автономии. СПб., 1909.
Х. Житловский. Социализм и национальный вопрос. СПб. 1909.
Серп. Сборник II. СПб., 1909.
Н. Минский. На общественные темы. СПб. 1909

***Вас. Голубев.* Интеллигентская обособленность.**
Впервые: Слово. 1909. № 720. Печатается по сборнику. *Василий Семенович Голубев* (1862–1910) — в 1890-х — марксист, организатор подполья в Петербурге, затем — земский деятель, публицист в либерально-социалистической печати. После выхода в свет сборников «Вехи» и «По Вехам» — один из инициаторов проекта сборника статей («в продолжение *Вех*») «о национализме», к участию в котором планировалось пригласить П. Б. Струве, С. Н. Булгакова, Е. Н. Трубецкого, А. Л. Погодина, Б. А. Кистяковского, М. И. Славинского, П. И. Новгородцева и М. Э. Здзеховского (*М. А. Колеров.* Не мир, но меч. Русская религиозно-философская печать от «Проблем идеализма» до «Вех». 1902–1909. СПб., 1996. С. 304–307).

***Вас. Голубев.* Соглашение, а не слияние.**
Впервые: Слово. 1909. № 731. Печатается по сборнику.

***Владимир Ж<аботинский>.* Асемитизм.**
Впервые: Слово. 1909. № 731. Печатается по сборнику. *Владимир Евгеньевич Жаботинский* (1880–1940) — писатель, деятель еврейского национально-государственного возрождения.

***Петр Струве.* Интеллигенция и национальное лицо.**
Впервые: Слово. 1909. № 731. Переиздано автором в: *Петр Струве.* Patriotica: Политика, культура, религия, социализм. СПб., 1911. Переиздано также В. Н. Жуковым в: *П. Б. Струве.* Patriotica: Политика, культура, религия, социализм. М., 1997; А. В. Хашковским в: *Петр Струве.* Patriotica: Россия. Родина. Чужбина. СПб., 2000. Печатается по сборнику. *Петр Бернгардович Струве* (1870–1944).

***П. Милюков.* Национализм против национализма.**
Впервые: Речь. 1909. № 68. Печатается по сборнику. *Павел Николаевич Милюков* (1859–1943).

***Петр Струве.* Полемические зигзаги и несвоевременная правда.**
Впервые: Слово. 1909. № 734. Переиздано автором в: *Петр Струве.* Patriotica: Политика, культура, религия, социализм. СПб., 1911. Переиздано также В. Н. Жуковым в: *П. Б. Струве.* Patriotica: Политика, культура, религия, социализм. М., 1997. Печатается по сборнику.

***Вас. Голубев.* К полемике о национализме.**
Впервые: Слово. 1909. № 734. Печатается по сборнику.

***Н. Минский.* Национальный лик и патриотизм.**
Впервые: Слово. 1909. № 750. Печатается по сборнику. Из предисловия Ф. Г. Мускатблита: «Н. Минский по своей инициативе любезно предоставил мне для восстанов-

ления несколько выпавших из первоначального текста мест, что в меру «не зависящих от редакции обстоятельств» и сделано». *Николай Максимович Минский* (Виленкин, 1855–1937) — поэт, философ.

Е. К. **Сумерки.**
Впервые: Наша Газета. 1909. № 59. Печатается по сборнику. Е. К. — *Екатерина Дмитриевна Кускова* (1869–1958) — социал-демократ, публицист.

Д. Левин. **Наброски. I.**
Впервые: Речь. 1909. № 69. Печатается по сборнику. *Давид Абрамович Левин* (1863–?) — сотрудник кадетских изданий, автор антивеховских откликов.

Д. Левин. **Наброски. II.**
Впервые: Речь. 1909. № 72. Печатается по сборнику.

П. Милюков. **«Отталкивание» или «притяжение»?**
Впервые: Речь. 1909. № 70. Печатается по сборнику.

М. Винавер. **Открытое письмо П. Б. Струве.**
Впервые: Речь. 1909. № 70. Печатается по сборнику. ***Максим Моисеевич Винавер*** (1863–1926) — адвокат, член ЦК кадетской партии, член Государственной Думы. Впоследствии, откликаясь на предисловие Струве к воспоминаниям В. В. Шульгина «Дни» (о еврейском погроме в Киеве в октябре 1905), где они были названы «первостепенным человеческим документом», который будет оценен «стремящейся к правде историей», Винавер напомнил Струве его «асемитизм» и свой ответ: «Куда Вы поместите Левитана, Антокольского, Рубинштейна, Гершензона — нежный плод творческого взаимодействия двух культур, сливающихся в едином культурно-государственном строительстве? (...) В этом мировоззрении Вашем заключалось уже принципи-

альное отрицание права «инородцев» строить вместе, а не бок о бок с Вами, Россию» (***М. Винавер.*** Открытое письмо Петру Бернгардовичу Струве // Последние новости. Париж, 29 марта 1922. С. 2).

В. Поссе. **Современные думы. «Еврейское засилие».**
Впервые: Слово. 1909. № 736. Печатается по сборнику. *Владимир Александрович Поссе* (1864–1940) — журналист, издатель, анархо-коммунист.

В. Поссе. **Национализм и социализм.**
Впервые: Слово. 1909. № 753. Печатается по сборнику.

И. Жилкин. **У старообрядцев.**
Впервые: Слово. 1909. № 761. Печатается по сборнику. *Иван Васильевич Жилкин* (1874–1958) — публицист, сотрудник либерально-социалистической прессы, член Государственной Думы.

Алексей Порошин. **Политические письма.**
Впервые: Новая Русь. 1909. № 69. Печатается по сборнику. Алексей Порошин — *Алексей Алексеевич Суворин* (1862–1937) — журналист, издатель.

Homo Novus. **22 несчастия.**
Впервые: Новая Русь. 1909. № 72. Печатается по сборнику. Homo Novus — *Александр Рафаилович Кугель* (1864–1928) — журналист.

[А.] Рославлев. **Мысли.**
Впервые: Петербургские ведомости. 1909. № 59. Печатается по сборнику. *Александр Степанович Рославлев* (1883–1920) — поэт.

Вас. Голубев. **О монополии на патриотизм.**
Впервые: Слово. 1909. № 736. Печатается по сборнику.

А. Максимов. **Чем дальше в лес, тем больше дров.**
Впервые: Русские Ведомости. 1909. № 61. Печатается по сборнику. *Александр Николаевич Максимов* — этнограф, публицист.

Е. К. **Национализм и патриотизм.**
Впервые: Правда Жизни. 1909. № 16. Печатается по сборнику.

В. Хижняков. **К «газетной буре».**
Впервые: Правда Жизни. 1909. № 16. Печатается по сборнику. *Василий Васильевич Хижняков* (1871–1949) — журналист, земский деятель, народник.

Вас. Голубев. **Поворот.**
Впервые: Слово. 1909. № 741. Печатается по сборнику.

Мих. Могилянский. **Национальное самосознание и патриотизм.**
Впервые: Слово. 1909. № 748. Печатается по сборнику. *Михаил Михайлович Могилянский* (1873–1942) — в 1890-е — марксист, в 1900-х левый либерал, участник украинского политического движения.

М. Славинский. **Русские, великороссы и россияне.**
Впервые: Слово. 1909. № 736. Печатается по сборнику. *Максим Иванович Славинский* (Словинский, 1868–1945) — публицист, участник украинского политического движения, автор антивеховских откликов.

А. Погодин. **К вопросу о национализме.**
Впервые: Слово № 737. Печатается по сборнику. *Александр Львович Погодин* (1872–1947) — профессор, специалист по истории Польши и славянских народов.

Вас. Голубев. **«Обман и лицемерие» или «реакционность»?**
Впервые: Слово № 761. Печатается по сборнику.

П. Боборыкин. **«Национальное лицо».**
Впервые: Русское Слово № 73. Печатается по сборнику. *Петр Дмитриевич Боборыкин* (1840–1921) — писатель.

А. Васильев. **Почему мой знакомый спрятал «свое национальное лицо».**
Впервые: Слово. 1909. № 754. Печатается по сборнику. Автор не установлен.

Евгений Чириков. **Благодарю, не ожидал!**
Впервые: Русское Слово. 1909. № 50. Печатается по сборнику. *Евгений Николаевич Чириков* (1864-1932) — писатель.

2.

Дмитрий Муретов. **Этюды о национализме.**
Впервые: *Дмитрий Муретов.* Этюды о национализме. I. Эрос в политике. II. Великий и малый национализм // Русская Мысль. 1916. [Январь] Книга I. II отд. С. 64–72. Переиздается впервые. *Дмитрий Дмитриевич Муретов* — правовед. С. Л. Франк вспоминал: «В 1914 г. в начале войны, он [Струве] «напал» на молодого, никому не известного писателя-философа Д. Муретова — человека крайне-правых убеждений, по своей духовной узости прямо противоположного натуре П. Б. [Струве] и большинству из нас чуждого. Но Муретов имел интересные, свежие, весьма «еретические» для обычного интеллигентского миропонимания мысли о национализме, о национальном чувстве, которое он описывал как чувство, аналогичное эротическому и имеющее в человеческой жизни ценность самодовлеющую, «по ту сторону добра и зла». Этим он сразу заинтересовал П. Б., который привлек его к сотрудничеству в «Русской Мысли» и к участию в наших

расширенных редакционных собраниях» (*С. Л. Франк*. Биография П. Б. Струве. Нью-Йорк, 1956. С. 71).

***Петр Струве.* Блюдение себя.**
Впервые: *Петр Струве.* Блюдение себя. Нравственная основа истинного национализма // Русская Мысль. 1916. [Январь] Книга I. II отд. С. 140–142. Переиздается впервые.

***Евгений Трубецкой.* Развенчание национализма.**
Впервые: *Евгений Трубецкой.* Развенчание национализма. Открытое письмо П. Б. Струве // Русская Мысль. 1916. Апрель [Книга IV]. II отд. С. 79–87. Переиздается впервые. *Евгений Николаевич Трубецкой* (1863–1920).

***Дмитрий Муретов.* Борьба за Эрос.**
Впервые: *Дмитрий Муретов.* Борьба за Эрос. Письмо П. Б. Струве по поводу письма к нему князя Е. Н. Трубецкого // Русская Мысль. 1916. Апрель [Книга IV]. II отд. С. 88–95. Переиздается впервые.

***Евгений Трубецкой.* Новое язычество и его «огненные слова»**
Впервые: *Евгений Трубецкой*. Новое язычество и его «огненные слова». Ответ Д. Д. Муретову // Русская Мысль. 1916. Июнь [Книга VI]. II отд. С.89–94. Переиздается впервые. О полемике Е. Н. Трубецкого с Д. Д. Муретовым см. специально в статье: *Н. Плотников, М. Колеров.* Русский образ Германии: социал-либеральный аспект // Исследования по истории русской мысли. Ежегодник за 1999 год. М., 2000. С. 150–156.

***Петр Струве.* По поводу спора кн. Е. Н. Трубецкого с Д. Д. Муретовым.**
Впервые: *Петр Струве.* По поводу спора кн. Е. Н. Трубецкого с Д. Д. Муретовым // Русская Мысль. 1916. Книга VI. II отд. С. 95–97. Переиздается впервые.

***Николай Бердяев.* К спору между кн. Е. Н. Трубецким и Д. Д. Муретовым.**
Впервые: *Николай Бердяев.* К спору между кн. Е. Н. Трубецким и Д. Д. Муретовым // Русская Мысль. 1916. Книга VIII. II отд. С. 44–48. Переиздается впервые. *Николай Александрович Бердяев* (1874–1948).

***Н. Устрялов.* К вопросу о сущности «национализма».**
Впервые: *Н. Устрялов.* К вопросу о сущности «национализма» // Проблемы Великой России. № 18. 10 (23) декабря 1916. С. 9. Переиздается впервые. *Николай Васильевич Устрялов* (1890–1937).

***Евгений Трубецкой.* Государственная мистика и соблазн грядущего рабства.**
Впервые: *Евгений Трубецкой.* Государственная мистика и соблазн грядущего рабства. По поводу статей П. Б. Струве и Н. А. Бердяева // Русская Мысль. 1917. Книга I. II отд. С. 74–98. Переиздается впервые.

***Петр Струве.* Национальный эрос и идея государства.**
Впервые: *Петр Струве.* Национальный эрос и идея государства. Ответ кн. Е. Н. Трубецкому // Русская Мысль. 1917. Книга I. II отд. С. 99–104. Переиздано В. Н. Жуковым в: *П. Б. Струве.* Patriotica: Политика, культура, религия, социализм. М., 1997. Печатается по первой публикации.

Серия «Исследования по истории русской мысли» (1996–2015)

М. А. Колеров. Не мир, но меч. Русская религиозно-философская печать от «Проблем идеализма» до «Вех». 1902–1909. СПб., 1996 (*Том 1*)

Исследования по истории русской мысли. [1] Ежегодник за 1997 год. СПб., 1997

Исследования по истории русской мысли. [2] Ежегодник за 1998 год. М., 1998

Вера Проскурина. Течение Гольфстрема: Михаил Гершензон, его жизнь и миф. СПб., 1998 (*Том 2*)

Исследования по истории русской мысли. [3] Ежегодник за 1999 год. М., 1999

Д. Мережковский, З. Гиппиус, Д. Философов. Царь и революция. М., 1999 (*Том 4*)

Евгений Голлербах. К незримому граду: Религиозно-философская группа «Путь» (1910–1919) в поисках новой русской идентичности. СПб., 2000 ([Том 3])

Л. Кацис. Русская эсхатология и русская литература. М., 2000 (*Том 5*)

Исследования по истории русской мысли. [4] Ежегодник за 2000 год. М., 2000

С. Н. Булгаков. Труды о троичности. М., 2000 (*Том 6*)

Руслан Хестанов. Александр Герцен: импровизация против доктрины. М., 2000 (*Том 7*)

Проблемы идеализма (Москва, 1902). М., 2002 (*Том 8*)

М. А. Колеров. Сборник «Проблемы идеализма» (1902): история и контекст. М., 2002 ([Без номера])

Исследования по истории русской мысли. [5] Ежегодник за 2001–2002 годы. М., 2002.

Александр Койре. Философия и национальная проблема в России начала XIX века. М., 2004 (*Том 9*)

Исследования по истории русской мысли. 6. Ежегодник за 2003 год. М., 2004

А. С. Глинка (Волжский). Собрание сочинений в трех томах. Т.1. М., 2005 (*Том 10*)

Владимир Белоус. ВОЛЬФИЛА: 1919–1924. В двух книгах. М., 2005 (*Том 11*)

Исследования по истории русской мысли. 7. Ежегодник за 2004/2005 год. М, 2007.

Френсис Нэтеркотт. Философская встреча: Бергсон в России (1907-1917). М., 2008. (*Том 13)*

Исследования по истории русской мысли. 8. Ежегодник за 2006/2007 год. М., 2009

С. Н. Дурылин и его время: Исследования. Тексты. Библиография. Кн. I. М., 2010 (*Том 14. Книга 1*)

В. В. Зеньковский. Пять месяцев у власти [Воспоминания]. М., 2011 (Том 15)

Е. А. Прибыткова. Несвоевременный современник: философия права В. С. Соловьева. М., 2011. (Том 16)

Исследования по истории русской мысли. 9. Ежегодник за 2008/2009 год. М., 2012

Исследования по истории русской мысли. 10. Ежегодник за 2010/2011 год. М., 2014

Елена Тахо-Годи. Алексей Лосев в эпоху русской революции: 1917–1919. М., 2014 (Том 17)

Национализм. Полемика 1909–1917. 2-е издание. М., 2015 (Том 18)

Планы продолжения монографической части серии:

С. Н. Булгаков и «Спор о Софии». Антология / Сост. А. П. Козырев

М. А. Колеров. Индустрия идей: русские «идейные сборники» XIX–XX вв. 2 издание, дополненное.

Русские неокантианцы в Германии: Диссертации / Сост. Н. А. Дмитриева

Электронные версии изданий: **www.iarex.ru/books**

ИССЛЕДОВАНИЯ
ПО ИСТОРИИ РУССКОЙ МЫСЛИ

ТОМ 18

НАЦИОНАЛИЗМ
полемика 1909–1917

Составитель М. А. Колеров

Второе издание

Издатель Модест Колеров
115088, г. Москва, 2-й Южнопортовый проезд, д. 16, стр. 1, офис 227
www.ridr.ru

Подписано в печать 20.02.2015. Формат 60 × 90 1/16. Бумага офсетная.
Печать офсетная. Тираж 500 экз. Заказ №

arvato
ЯПК

Отпечатано в полном соответствии с качеством предоставленного
электронного оригинал-макета в ОАО «Ярославский полиграфкомбинат»
150049 Ярославль, ул. Свободы, 97